

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Том 18
2013

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. — председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. — сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

Скворцов К.В. — секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
тел./факс +38 (057) 700-40-25

ХАРЬКОВ — СЕГОДНЯ

70-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков посвящается

Римма КАТАЕВА

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Ну что ты делаешь со мной, моя Сумская?
Не Дерибасовская ж ты и не Тверская!..
Гляди, как пенятся зелёные бульвары,
А нас твои упрямо тянут тротуары.
Мне каждый выступ, каждый выдох твой знакомы.
Тебя вышагиваю, чувствуя, что дома,
И наслаждаюсь отпечатанной брусчаткой,
Не замечая ни единой опечатки.
А перекрёстки, нет, ну что за перекрёстки!
В тени встречаются влюблённые подростки.
А площадь — что бы о ней ни написали! —
Не передать нам. Приезжайте, гляньте сами.
Сюда бегу я от толпы противоречий —
Со мной Кобзарь поговорит по-человечьи.
И день, и ночь к нему течёт река людская,
Да без него была б Сумская — не Сумская.
Как интересно раскрывать твои секреты!
На нас, сегодняшних, глядит со стен Бекетов.
Сюжеты бродят в одиночку, врассыпную —
Из дома в дом, переполняя всю Сумскую.
Тебя дробили, и долбили, и бомбили...
Тебя, как женщину, так трепетно любили!
С тебя — из дали даже! — глаз я не спускаю.
Ну, что ж ты делаешь со мной, моя Сумская!

ПАРАЛЛЕЛИ

Для чего ты играешь умом моим?
Преображающаяся святая вечность!
Ты и, убегая, стоишь и, стоя, убегаешь.
Григорий Сковорода

Когда уснет двухмиллионный город,
Хотел бы я в ступенчатом саду,
Под стенами Покровского собора,
Стоять и созерцать Сковороду,
И говорить с ним, истину в виду
Имея, а не ложь и глупость спора...

Собравшись с духом, я о нем пишу,
А параллели просятся наружу:
Стихами он грешил, и я грешу;
Оставил бы и я до срока службу;
Он высоко ценил мужскую дружбу,
И я всю жизнь ее превозношу...

Мы созидали, собирая камни,
Выпальвали алчности бурьян;
Он был душой и сердцем с «голяками»,
Я — с массами рабочих и крестьян,
И каждый был идеей обуян
Союза мысли с умными руками!

Он с Вечностью накоротке — «на ты»,
А я — «на Вы» и с буквы прописной!
Нам харьковские реки и мосты
Дарили вдохновение весной...
Он ездил в Рим, а я — «невыездной»,
Но были наши помыслы чисты...

Не задавая роковых вопросов,
Смотрю на Вас, поэт и вечный странник,
Наш светоч, просветитель и философ,
И думаю, что я и ныне данник,
Что я всего лишь слабосильный стланик,
Опёршийся на Ваш духовный посох...

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ

На улице Пушкинской — водоворотом торговля,
лотки да ларьки, кутерьма огурца-помидора.
И это похоже на некую рыбную ловлю,
где каждый берёт, что клюёт, без каприза-разбора.
На улице Пушкина, улице бывшей Немецкой,
студентки, плывущие с лекций, в упор волооки,
и отсветом зыбким от утренней казни стрелецкой
чернеют их волосы и розовеют их щёки.

Над долгою улицей три с половиной десятка
несгинувших лет продолжают свеченье, витая.
И с «Белым» фугас веселей, чем эфирная ватка,
дурманит мозги и толкает к закуске «Минтая».
Вдоль улицы-умницы прожито жизни две трети,
увы, небезгрешных, но всё-таки неповторимых.
И дети друзей повзрослели, и новые дети
смекают навскидку о числах — реальных и мнимых.

С яичного купола и с кирпичей синагоги
она начинается, с бицепсов «Южгипрошахта».
А далее скорбно молчат лютеранские боги
над щебнем Хруща богохульного. С бухты-баракхты
порушена-взорвана кирха на штрассе Немецкой,
и дом кагэбэшный, в дизайне коробки для спичек,
склепал на руинах обком — со всей дурью советской,
со всем прилежаньем сержантских малиновых лычек.

Но дальше, но больше — весь бодрый «бродвей» опуская,
все лавки, витрины и все заведенья с «Мартини»,
все шпалы на выброс, все рельсы «пятерки» — трамвая,
ведёт моя улица к неоскуденю светлыни.
Всех ульев и лестниц метро — во спасение мало.
Седмицам и троицам брезжит просвет, но не тыщам —
здесь храм Усеченья Главы Иоанна Купалы
парит белизною над старым снесённым кладбищем —

крестильный мой храм. Как срослись имена в аннограмме!
Погосты, 2-ой и 13-ый, — сцепки и звенья.
В семейной ограде отцу и печальнице-маме
и к Пасхе цветы оставляю, и к датам рожденья.

Но здесь же легли, словно в Пушкинской строчке остались:
мудрец Потеня, Багалий, Пугачов, Чичибабин.
И, будто бы миром на сердце сменяя усталость,
смолкает над дальней могилою дьякон-Шаляпин...

На улице Пушкинской мы и пребудем вовеки —
не ямбом-хореем, так яблоком и хороводом!
Спешат молодые и радостные человеки
вдоль утра её, становясь предвечерним народом.
И пусть бы потом, в андерграунде, в метровокзале,
иль, может, на самой высотной небесной опушке,
две наши души, улыбаясь, друг другу сказали:
«Увидимся снова, как прежде, — в кофейне на Пушке...»

Алексей БИНКЕВИЧ

ПЕРЕУЛОК ПОДОЛЬСКИЙ

сестре Тане

Гримируется под осень
переулок мой Подольский,
там над Нетечью прогнулся
акробат — стотонный мост.
Соберу листвы две горсти...
Словно выпившие гости,
пляшут листья на ладонях.
Боже, как их танец прост!

Где-то в этом переулке
заигралось детство в жмурки.
Так запряталось, что вряд ли
мы теперь его найдём.
Вносит время коррективы.
Нет ни дома, ни квартиры:
метрострой вблизи от речки
срыл одноэтажный дом.

Где играли мы, Танюшка,
там теперь стоит пивнушка,
но не ставит память точку
на заветном житии...
Из-за классной кубатуры
банком стал наш дом культуры,
и его когда-то тоже
мы найдём в небытии...

Подметённый, очень скользкий,
переулочек Подольский,
вот и свиделись мы нынче.
До свидания, дружок.
Осень. Льётся листьев сплетня.
Не видались полстолетья.
И как будто совершили
нынче в прошлое прыжок.

Говорили, что когда-то
был ты улицей Марата.
Переулок мой Подольский,

заметён какой зимой?
В мае, августе и марте
не ищущ тебя на карте —
стал ты улицей...
Гамарник,
переулок где там мой?

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

ДОЖДЬ В МОЁМ ГОРОДЕ

Дождь идёт по городу, шлёпает по лужам,
Что-то шепчет на ухо по секрету мне.
Хмурятся прохожие: вроде дождь не нужен —
Слишком много вылилось влаги по весне!
Воробьи нахохлились, будто бы от холода:
Дождь пронзает улицы, узкий, как стилет.
Нам обоим весело: мы с ним оба молоды,
Сколько бы там ни было за плечами лет.
Истово, отчаянно верещат трамваи,
Мордами усталыми тычутся в ручки.
Дождь с них, бедных, ласково скуку дня смывает:
Улыбайтесь фарами, пойте, соловьи!
Капли босоногие булькают, лопочут,
У машин топорщатся мокрые усы;
Пассажир застенчивый выходить не хочет —
Что ж ты, глупый, прячешься от такой красы?
Город свежесмытый зеленеет парками,
Расцветает радугой — краше не найдёшь!
Мы идём по городу, мы идём по Харькову
Бесшабашно весело — я и летний дождь!

ПЛОЩАДЬ ПОЭЗИИ В ХАРЬКОВЕ

Первая на всей планете площадь —
С именем поэзии одна,
Перед Красной, может, и попроче,
Но зато Поэзии она!

Здесь у нас нередко выступали
Маяковский — в двухметровый рост,
Многие, кого в России знали...
Сам Есенин в золоте волос...

Магазин «Поэзия» и площадь —
Место встреч поэтов всей страны.
И столице первой я пророчу,
Что дождётся и она весны.

И тогда на площадь соберётся
Цвет поэтов Украины всей,
И не всяк поклонник проберётся
Сквозь толпу внимающих людей.

Павел ГУЛАКОВ

МОЙ ХАРЬКОВ

Рассыпав громады по склонам,
Сетями стальными увит,
Форпостом, укрытым бетоном,
Пред вами мой Харьков лежит.

Пускай неприметны и серы
Одежды гранитных дворцов...
Останусь носителем веры
Бессмертия мудрых творцов.

Впитал я с величием храмов,
С величием зреющей ржи
Жестокую истину правил
Славянской единой межи...

И здесь я впервые влюбился
Не в силах себя превозмочь.
Здесь сын —
 мой наследник — родился.
Здесь в зорях купается дочь.

Мой город, в твоей колыбели
Я таинство звуков познал,
В твоей колыбели созрели
Все песни, что я написал...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ХАРЬКОВУ

Снег идет на Сумской,
на Искринской,
как забытая благодать.
Разве город умеет искренно
тосковать?
Это мне — стук колес, бессонница,
пересчёт столбов.
Как тебе в снегопады дремлет
без моих шагов?
Полустанок.
Качнется, тронется
в полутьме вагон.
Как тебе вечерами светится
без моих окон?
Чтобы помнилось,
чтобы встретиться,
я повешу на небеси
нам на счастье подкову месяца.
Пусть висит.

МОСКАЛЁВКА

Здесь всё приземлено, притемнено,
а двести лет, конечно, не помеха.
И быт, как чёрно-белое кино, —
забытой хроники слабеющее эхо.

Купеческой поры особняки —
скупой привет от золотого века —
и поворот извилистой реки,
труба, пекарня, за углом аптека.

Подол, Левада, — ретро-витражи.
Рыбасовская, Рыбная, а дале —
в часы «застоя» мудрые мужи
в честь командармов улицы назвали.

Милитаристское «вчера», как злой укор.
Прощайте танки, спутники, ракеты,
а Москалёвке не хватает звона шпор,
городового, расписной кареты.

Заиковской — умельцев-кустарей,
Ващенковскому — пышных проститутток,
Галушкинской — возни золотарей,
Старомясницкой — слобожанских шуток.

Эклектика... Она придет потом,
с первоστοличным, трудовым задором,
безлико серый железобетон,
прямые линии, чугунные заборы.

А Грековская дышит стариной,
и все потуги времени напрасны.
Панельный бум пронёсся стороной
по Красношкольной веерообразно.

Увёл в туман Нетеченский бульвар
и отзвенел потерянной подковой,
и на несуществующий базар
спешит в телеге Квитка из Основы.

Вдали мелькнут знакомая спина,
бушлат Кульчицкого и силуэт Шульженко...
Смешались нравы, судьбы, имена,
кому — забвение, кому — доска на стенке.

Мещанско-пролетарская среда,
брожение стилей или их притирка,
и, окружению не нанося вреда,
здесь появилась бескозырка цирка.

От цирка путь до «Зірки» — пять минут.
Подняться вверх по Университетской
и оглянуться, миражи вмиг промелькнут
и сгинут в атмосфере постсоветской.

Владимир КОПЫЧКО

ХАРЬКОВСКИЙ ВАЛЬС

Этот город — не Одесса, он — рабочий, не повеса,
хоть не легкого замеса, этот город — не Ростов!
Не успевший возгордиться от избрания столицей,
не тоскует за жар-птицей и судьбой Нью-Васюков!
На слияньи трех речушек, разогнав кагал лягушек,
под защитой русских пушек он стоит уж триста лет:
точит сталь и варит пиво, учит, строит всем на диво,
любит девок, «шоб красиво!», водку, деньги и балет.

Если вдруг загрустишь ты, приятель, спеша на край света
это все потому, что проездом ты в городе этом!
Там, куда ты стремишься, быть может открыта дверь рая,
но лишь здесь тебя примут, любя, и Благбаз и Сумская!

Здесь бродили печенеги, уходя в свои набег,
и груженные телеги в Крым татары волокли.
И пока горели хаты — шли стрельцы на супостата
и сверкающим булатом вражьей головы секли!
Хлебосолен, необидчив, тороват и неусидчив,
город этот неуживчив — он не любит дураков.
Город прост, но знает цены на победы и измены,
отличая без проблемы джентельменов от лохов.

Здесь и гои и не гои скажут вам: «А шо такое?» —
если их побеспокоят ваши речи и дела!
Бесполезно обижаться и не стоит выражаться,
нужно просто улыбаться, вопрошая смело: «Га?»
Город русский, но «с процентом», украинский, но с акцентом,
от станка, но здесь доцентов — как нерезанных собак!
И по качеству студентов он не знает конкурентов,
а засим, без сентиментов, знает, что, и где, и как!

От котлеты до ракеты может делать город этот, —
здесь работал сам Бекетов и мудрил Сковорода!
Хоть не веря, ты послушай: Харьков — твой счастливый случай,
этот город просто лучше, чем другие города!

* * *

Мой Харьков начинался с «Барабашки».
Опт-розница.
Торговля в холод, в зной.
Контейнер, стол, носки-штаны-рубашки
и купол полосатый надо мной.

Оптовики, карманники наскоком.
Не до стихов — продай, купи, продай.
Разбогатела?
Да, не без «носков» я.
И знаю, что дешевле по рядам.

То день, то ночь.
То пасмурно, то ярко.
То гладь «Струи зеркальной». То «Каскад»
шумит, бурлит.
О если бы Мой Харьков
начался с них — писала б о носках?

Сергей ПОТИМКОВ

ПОДАРОК РОДИНЫ

Судьба преподносит подарки,
не надо вести с нею торг.
Она предлагает вам Харьков?
А вы попросились в Нью-Йорк?

А вам подавай Акапулько?
Сантьяго? Шанхай? Будапешт?..
Вон с крыши свисает сосулька
в Париже — клоаке надежд.

Где выиграешь, где потеряешь,
не знает никто наперед.
Вам Аден покажется раем.
И адом неапольский порт.

Не надо искать Эльдорадо
и партией рваться в Клондайк.
Все золото партии рядом.
Коситься к чему на Китай?

Зачем вам тревожить пещеры?
Тень Али-Бабы вызывать?
Забудьте атоллы и шхеры,
Калькутту, Сиэтл, Эр-Рияд.

И коль довелось вам родиться
в краю, где сипит глухомань,
то здесь суждено пригодиться —
не чашу испить, а лохань.

Я счастлив, что есть город Харьков.
Пусть миру он мало знаком,
держат буду здесь нашу марку
и к горлу подкатывать ком.

В каштановый шум возвращаться
из всяких там Аделаид.
И будет планета вращаться,
но Харьковом будет магнит,

который Вселенную держит.
И мало кто знает о том,
что здесь мироздания стержень
и пункт управления — Госпром.

ПЕСНЯ О ГОРОДЕ

Города, города.. . Не похожи ни ликом, ни сутью.
Каждый — неповторим, как узор на морозном стекле...
Города, города, вы прекрасны, но — не обессудьте:
я спою не о вас, а о городе том, что из многих
— один на Земле.

Харьков! Плещет улиц твоих Вавилон...
Харьков, да хранит тебя ветер времён.

Три неброских реки оберегом живым твоим стали.
Трёх веков седина в память степью польннной легла ...
Но чеканно легки очертания новых кварталов,
и над всей суетой величаво глядят в поднебесье
твои купола.

Харьков, приглуши голоса площадей;
Харьков, жизнь моя — на ладони твоей.

Покидая свой дом, мы, как птицы, стремимся вернуться .
Ну, а город нас ждёт — дни, недели и даже года,
тоже зная о том, что всегда после нас остаются
наши дети и песни, и наши дела, да ещё
— города, города ...

ПРОЗА

Виктор ДОЛБНЯ

ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ

6. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

11 мая 1943 г.

За эти три дня многое произошло. Я стал фронтовиком и уже прошел боевое крещение, закончившееся для меня плачевно. Мне было не до записей, но сейчас я уже могу писать и излагаю все по порядку.

9 мая мы выгрузились на станции Русский Брод и вошли в состав 107 танковой бригады, действующей на Центральном фронте. Нас сходу послали в так называемую «разведку боем». Это такая операция, когда какая-то часть (как в данном случае наша танковая) имитирует боевые передвижения в прифронтовой полосе. Этим она вызывает на себя огонь противника, а наблюдатели с нашей стороны при этом засекают вражеские огневые точки.

Чувствовать себя живыми мишенями было не очень приятно. Какое-то время мы благополучно ездили под обстрелом немцев, и вот случилось самое худшее — снарядом повредило ходовую часть нашего танка. Что это было, я не знаю, то ли сорвало гусеницу, то ли повредило ходовое колесо, но машина крутнулась на месте и остановилась. Двигаться дальше мы уже не могли, нужно было покинуть танк. Когда поступила такая команда, на неподвижно стоящую машину уже обрушился огонь противника.

Уходить нужно было через десантный люк, который я, как уже когда-то писал, держал наготове на четырех барашках. Я быстро свинтил их и выполз под днище танка, благодаря Богу за то, что под люком не оказалось никакого препятствия. За мной выполз лейтенант. Как вылезали остальные, я не видел. Пока мы с лейтенантом ползли к своим, нас обстреливали минами. Чем-то меня сильно ударило в левое бедро. Вряд ли это был осколок снаряда, скорее, ком земли или обломок дерева, так как открытой раны не было, но была жуткая боль. Не помню, сам я полз после этого, или кто-то меня тащил, но я оказался среди

(Окончание. Начало в №16-17)

своих, будучи не в силах пошевелиться.

Меня положили на моторную броню танка и куда-то повезли. Везли недолго, вскоре добрались до какого-то обоза, меня перетащили на подводу и уже на ней повезли в медсанбат. На танке я чувствовал себя гораздо спокойнее, не было никакой тряски, а на подводе я чуть ли не кричал криком на каждой кочке. В медсанбате, пока не было врача, мне дали успокоительное.

Сегодня утром меня осмотрел врач, и на легковой машине меня отправили в госпиталь в село Шатилово. Очень больно было в обмывочном пункте, затем меня поместили в 1-ю палату. Похоже, раньше здесь был зрительный зал клуба, так как в палате не менее полусотни коек, но относительно просторно.

12 мая 1943 г.

Меня осмотрел военврач и решил, что у меня перелом шейки бедра возле тазобедренного сустава. Хотели тут же отправить в тыл, но в тот момент не было свободной подводы. Это к счастью, потому что вскоре к госпиталю подъехала рентгенустановка, и врач решил до отправки просветить меня на ней. И вот на рентгене обнаружилось, что перелома нет, просто сильный ушиб с повреждением мягких тканей.

Тем временем наша танковая бригада своим ходом ночью двинулась в марш на 240 километров. Накануне экипаж меня проведаль. Они все уцелели, машину же немцы подожгли. Танк им дали другой, из резерва. Кстати, когда мы еще ехали по железной дороге, и подсохла краска на башне, мы обнаружили в ней трещину вдоль сварного шва. Так что, машина была, так или иначе, обречена.

Я со слезами попрощался с экипажем, оставил им на память одну из двух своих фотокарточек. Прощай, экипаж, взвод, рота!

13 мая 1943 г.

Я уточнил, что номер моей танковой бригады таки 107, кроме того знаю, что был в 1-м взводе 1-й роты. Командир роты старший лейтенант Донков, командир взвода — лейтенант Болотов. Других данных не имею, но может этого будет достаточно, чтобы вернуться туда после выздоровления.

Нога успокаивается. Сейчас она в шине. Лежу и читаю госпитальные книги, только что прочел «Дмитрия Донского» Бородина. На очереди интересные рассказы Лескова.

15 мая 1943 г.

Нога все еще в шине и в гипсе. Когда не двигаюсь, боли не чувствую.

16 мая 1943 г.

Нога поправляется. Не расшиновали. Уже могу без боли слегка и очень ограниченно ею двигать. Но ходить и владеть ею не могу совсем.

18 мая 1943 г.

Все еще в госпитале. Узнал его номер: армейский полевой госпиталь № 1869. Ходить еще не могу.

19 мая 1943 г.

Скорее бы поправлялась нога! Скука смертельная, читать нечего, и я положительно не знаю чем заняться. Все эти дни у меня в голове одна мысль: как было бы замечательно, если бы закончилась война! Но конца ее не видно, фронт неподвижен. Меня мучает еще другая мысль — как бы меня после госпиталя не отправили в пехоту, куда мне так не хочется.

21 мая 1943 г.

Сегодня третий день, как начал понемногу ходить на костылях.

22 мая 1943 г.

Дней через пять, а может, в начале июня я совершенно поправлюсь. Господи! Как мне не хотелось бы попасть в пехоту или в другой род войск. Так хочется снова быть танкистом. И с бессилием убеждаешься, что со мной все происходит вопреки моим желаниям. Как это обидно! Хотя я всегда успокаиваю себя мыслью, что судьба все делает к лучшему, все же очень не хочется расставаться с танковыми частями.

Сегодня получил получку. Теперь мой оклад 275 рублей и 25% (68р.75к.) «полевых». Всего я получил на руки 344 рубля. В жизни я еще таких денег не получал! Пехота вообще получает 12 рублей в месяц. А я все же младший командир да еще специалист! По документам моя военно-учетная специальность (ВУС) № 34 — радист боевых машин, а это уже квалификация, поэтому и зарплата высокая.

24 мая 1943 г.

Меня перевели в палату комсостава. Это, между прочим (какой из меня, младшего сержанта, комсостав?).

Сейчас у меня есть что читать — эпопея Сергеева-Ценского «Севастопольская страда».

На ногу все еще наступать не могу.

26 мая 1943 г.

Сегодня меня переводят в поселок совхоза «Прогресс», по ту сторону железной дороги. Там будет лечение физкультурой для разработки мышц ноги. Во что бы то ни стало, я должен вылечиться до июня. Затем нужно получить

документы о моем звании и воинской специальности, а также денежный аттестат, затем постараться снова попасть в танковую часть.

Уже несколько дней все время идут дожди.

27 мая 1943 г.

Вчера вечером перевели в «Прогресс». Поместили в землянке, которая меньше всего походит на госпитальную. Грязь, нары в два ряда и битком набито народу. Ночью спать не дают блохи. Не сравнить с Шаталово. Нужно употребить все силы, чтобы как можно скорее убраться отсюда.

30 мая 1943 г.

Наступать на ногу уже можно, но ходить все еще без опоры нельзя. Сегодня выдался ясный солнечный день, и я отдыхаю в лесу за госпиталем. Поют соловьи и щебечут разные птицы. Как прекрасна весна! Как хороша жизнь! Неужели судьба не даст мне насладиться молодостью? Ведь мне нет и 19-ти лет! Да, поперек всему стоит эта проклятая война! Господи! Когда же ты пошлешь ей конец? Я не вижу ей конца этим летом и даже в этом году. А предо мною, если я доживу до конца года — снова встает страшная, суровая зима. Будучи неоднократно обмороженным, я панически боюсь холодов. Мне все кажется, что очередной раз зиму я не переживу.

31 мая 1943 г.

Сегодня был на массаже. Уже немного хожу без костылей. У одного из начальников узнал, что танкистов направляют строго по своим специальностям. Это меня успокоило. Может, в пехоту не попаду. Дела идут хорошо, но кормят плохо.

3 июня 1943 г.

Попалась книга Перельмана «Занимательная механика». Выписал для памяти формулы механики и проработал теорию относительности Эйнштейна. Записные книжки делаю из листиков курительной бумаги форматом 6Х4 сантиметров.

Нога все лучше с каждым днем. Делают массаж. Сегодня перехожу на один костыль и палку. Немного могу ходить и без костылей. Санитар предлагает попросить врача назначить мне диету. Если назначат, то буду получать пополам черный и белый хлеб (всего дают 600 граммов в день), масло, больше сахара и лучший приварок.

5 июня 1943 г.

Уже хожу с одной только тросточкой. Могу и без нее. Вчера подписался на заем, отдал 30 рублей. Нужно продать махорку, пополнить кассу. Завтра уже буду находиться на диетном питании.

10 июня 1943 г.

Нога почти совсем поправилась. Скоро должны выписаться. Питаюсь диетным пайком — гораздо лучше, чем обычным. Дни проходят незаметно. Завтра уже месяц после моей травмы. При выписке нужно сделать все, чтобы снова попасть в бронетанковую часть.

11 июня 1943 г.

Сегодня у меня взяли кровь на клинический анализ и на РОЭ. Результат узнаю потом. Хуже всего, что я начинаю курить. Сегодня часть махорки поменял на три яйца у крестьян из совхоза, нужно сэкономить шесть ложек сахара и побаловать себя гоголем-моголем, который я так любил в детстве.

12 июня 1943 г.

Большое впечатление произвело на меня сообщение английского военного командования об оккупации итальянского острова Пантеллерия, гарнизон которого сдался вопреки приказу Муссолини. Если правда, что это начало открытия второго фронта в Европе, то это сверхзамечательно!

Сегодня сделал гоголь-моголь. Как это было приятно — побаловать себя давно не пробованным лакомством.

15 июня 1943 г.

Нога окончательно поправилась. Наверное, пробуду здесь не более трех-пяти дней. Очень жаль, если не дождусь выплаты июньской зарплаты. Это плохо еще и тем, что начфин обещал узнать и сообщить мне адрес моей части. В этом случае я смог бы попытаться попасть в свою бригаду.

17 июня 1943 г.

Меня назначили заведующим Ленинской комнатой госпиталя. Продолжаю читать эпопею «Севастопольская страда».

20 июня 1943 г.

Еще в госпитале. На днях должен появиться начфин, может, дождусь.

Недавно меня прикрепили к казахам или узбекам, чтобы я обучил их пользованию пулеметом ДП. Его устройство в основном такое же, как у танкового пулемета ДТ, только другие размеры по длине и другой диск с патронами. Обучая их, я предупредил, что нельзя держать пулемет за ствол снизу, так как при спуске курка газовой трубкой можно прищемить пальцы. Показывая, как нельзя делать, я нечаянно нажал на спусковой крючок и тут же прищемил свой собственный палец на левой руке. Я не подал виду, объявил перекур на 15 минут, отошел в сторону и зажал рану

носовым платком. Газовая трубка вырвала из пальца кусочек мяса. Я туго перетянул платком, сделал вид, что ничего не произошло, и после перерыва продолжил занятия. Шрам на пальце сохранился до сих пор!

23 июня 1943 г.

Попросил госпитального жестянщика сделать мне котелок — мой остался в танке. Но отправляют из госпиталя 18 человек, в том числе, кажется, и жестянщика (он тоже выздоравливающий). Возможно, и я буду в этой партии. Котелка не дождался, наверное, не дождусь и начфина.

Все еще работаю заведующим клубом.

25 июня 1943 г.

Дни идут... Я все больше загружаюсь работой: пишу расписания, рисую стенгазеты. Может, в этом и причина того, что меня еще не выписывают из госпиталя. Во всяком случае, своего я дождался — сегодня должен приехать начфин. После того пусть выписывают. Вчера послал письмо в хутор Соколу. Кто знает, может, еще успею получить ответ.

26 июня 1943 г.

Вчера получил деньги у начфина. Адрес моей части он вроде бы затерял (а может, он его и не узнавал). Жестянщик тоже успел сделать котелок за полтора стакана махорки.

Говорят, есть приказ генерала армии Рокоссовского (командующего нашим фронтом) о том, что тот, кто выкосит 0,5 гектара травы за день, будет представлен к награде, ему ушлатят 1000 рублей и дадут месячный отпуск. Нашему госпиталю выделен участок в 28 гектаров. Отчего не попытаться счастья, тем более, что кормить обещают по 1-й норме (фронтной), а косарь я, в общем-то, неплохой. Я записался. Отпуска может и не получу (мне и ехать некуда — Харьков занят немцами), но деньги не помешают даже на фронте.

26 июня 1943 г.

Сегодня на обходе врач выписал меня на работы куда-то в совхоз. Назначили вместо меня преемника по клубу. Когда я передавал ему имущество, нам встретился замполит госпиталя лейтенант Сысоев. Узнав, что меня направляют на работы, он заявил: «Нет, ты не поедешь!» и меня вроде бы оставили.

Про покос с наградами и отпуском дело заглохло, видимо, это была чья-то фантазия.

3 июля 1943 г.

Попытка Сысоева освободить меня от работы не прошла. 29 июня меня отправили после обеда в село Шатилово. Со мною попал и старший сержант Карташев. Мы с ним в свое время сдружились, он артиллерийский мастер. Вместе с

моим соседом по койке Зотовым это один из здравомыслящих людей. Так я называю тех, кто трезво оценивает жизнь и события, и с которыми можно говорить обо всем без опаски. С нами еще восемь человек.

В селе Шатилово мы получили продукты на 6 суток. Там к нам добавили еще 20 человек и 8 медсестер.

Вечером мы, поужинав, направились к станции Красная Заря. Затемно мы пришли на станцию и заночевали прямо под яблоней. Утром 30 июня позавтракали, сели на платформы попутного товарного поезда и поехали на станцию Хомутово. От нее пошли к селу Никольское, а уже оттуда на армейский огород, где поселились в шалашах. Меня ребята выбрали своим начпродом и завскладом.

С Карташевым мы крепко подружились, это хороший человек, 1918 года рождения. Я буду рад, если наша дружба ничем не омрачится. На огороде пропальываем картофель.

Сдавая библиотеку преемнику, я передал 24 книги вместо 19. несколько своих книг мне оставили выздоравливающие при выписке из госпиталя. Воспользовавшись своим правом на эти пять книг, я взял из библиотеки одну для меня очень ценную — переписка Александра Блока с Андреем Белым. Взамен нее я и оставил все свои пять книг, тем более что на «Переписку...» особых любителей, кроме меня, вообще не было.

Живем и работаем нормально. К нам прибыли еще 4 человека.

5 июля 1943 г.

Сегодня есть много кое-чего записать. Дело в том, что нам с Карташевым не понравилось терять время на огороде. Тем более что в случае ожидаемого наступления наших войск нас могли запросто бросить в пехоту (а он — мастер-оружейник). Мы вчера выехали в Шатилово за продуктами, а там заявили начальнику госпиталя, что желаем выписаться на фронт. Тот возразить против этого ничего не мог, и нас выписали. Дали продукты по 7-е июля. Сегодня переночуем в совхозе «Прогресс», завтра утром ходим в Шатилово за денежным аттестатом, а потом махнем... Куда — еще не решили. В запасной полк идти нет желания, хотим поехать в Воронеж в штаб армии. Правда, до него долго добираться — около 280 километров. Там, может, попадем с Карташевым в танковую бригаду. Завтра запишу, как претворился в жизнь наш рискованный план.

7 июля 1943 г.

Вчера утром поднялись, попили чаю и ушли на Шатилово. По дороге в Красную Зарю передумали идти за денежным

аттестатом, как раз попались две попутные подводы, и мы поехали на них на станцию Красная Заря. Там отдохнули до двух часов дня. В санитарном поезде нас накормили супом. Когда подошел попутный товарный состав, мы сели на него и добрались до станции Русский Брод. Там узнали, что до 146 Армейского запасного полка 7-9 километров. Мы сварили кашу, поужинали и попросились на ночлег у местной женщины. По дороге хотели записаться в какую-то встретившуюся нам зенитную часть, но у них штат был укомплектован.

Сейчас утро, спешить некуда. Здешнее население резко отличается от украинских крестьян, с которыми я много сталкивался по пути из Харькова в Чертково. Правда, орловцы перенесли все тяготы боев, отступлений и наступлений армий, пожары, грабежи и бомбежки, но, тем не менее, нам не нравилось их неприязненное отношение к солдатам, да и вообще к прохожим. Если сам чего-либо не раздобудешь — среди них можно умереть с голоду. О том, чтобы накормили или чем-либо помогли, не может быть и речи.

8 июля 1943 г.

Должен сознаться, что вчерашняя характеристика местных жителей была поспешной. Вчера утром наша хозяйка сытно накормила нас оладьями с кислым молоком. После завтрака мы отправились к селу Теляжье. По дороге в Теляжьих Выселках хорошо отдохнули до 2-х часов дня. За селом Теляжье в семи километрах от станции Русский Брод в лесу расположился 146 Армейский запасной полк, куда нам и нужно было прибыть. Идею о поездке в Воронеж мы оставили. Вчера же мы и оформились в запасном полку, помылись в бане. Карташева тут же назначили на должность артиллерийского мастера полка. Так наши пути и разошлись. Сегодня узнаю, куда определяют меня.

9 июля 1943 г.

Вчера всех, у кого не оказалось красноармейских книжек, вызвали в особый отдел полка. Меня тоже, так как свою красноармейскую книжку получить в 107 танковой бригаде я не успел.

Пока мы работаем по обслуживанию бани, а особый отдел выясняет, что мы за люди. Потом нас направят по назначению.

Канонада с фронта слышна каждое утро и каждый вечер.

11 июля 1943 г.

Только вчера после обеда нам выписали красноармейские книжки и перевели в строевую роту во 2-е отделение 2-го

взвода. Распределили нас по специальностям. Танкистов оказалось семь человек.

Сегодня весь день работали. Скоро начнут посылать в наряды и в караулы. Здесь мне не нравится. Кормят хорошо, но скорее бы отправили в какую-либо танковую часть.

14 июля 1943 г.

Все же я дождался! 12 июля после обеда мы заступили в наряд. Я стоял в карауле у продовольственного склада. А вчера в обед танкистов сняли с караула и оформили на отправку. Получил два полотенца, портянки. Вещмешок я приобрел еще в госпитале. Простился с Карташевым, записал его адрес. Поужинали мы еще в запасном полку, но на сегодня у нас уже сухой паек и с питания мы сняты. Утром все же удалось раздобыть котелок супа на кухне. Скоро мы направимся в штаб в село Теляжье. Нас едет 12 человек — три авиаспециалиста, два гвардейца, остальные семеро — танкисты.

Думаю махорку сменять на хлеб.

15 июля 1943 г.

Вчера днем мы направились в село Теляжье. На пункте отправки пробыли до вечера. Всех 12 человек разослали в разные стороны. Семерых танкистов направили в село Вязовое в штаб танковых войск. Вечером получили продукты на 15 и 16 июля и затемно двинулись в путь, прошли село Лимовое. Среди нас старшим был старшина по фамилии Костюк. Он, видимо, плохо ориентировался на местности, в результате чего мы всю ночь блуждали, неизвестно где. Лишь под утро мы улеглись спать прямо под чистым небом.

Сегодня утром поднялись, и я подробнее присмотрелся к своим попутчикам. Мне сразу эта компания не понравилась. Из разговоров между ними я выяснил, что все шестеро — бывшие штрафники, а по натуре — проходимцы и уголовники. Как и все темные личности, они все время грызутся между собой, после чего сразу мирятся. Я среди них — белая ворона. К счастью, они мало на меня обращают внимания. Я чувствую, что с ними запросто попасть в какую-либо уголовную историю.

По предложению старшины они намерились до прибытия к месту назначения зайти в какое-то село, где должна размещаться их бывшая штрафная рота, для того, чтобы проведать своих бывших товарищей. Это затянет время, если не кончится чем-то намного худшим. Тем более что продуктов у нас немного.

Еще только утро, а я уже съел сегодняшнюю норму хлеба, сало и колбасу, сахар. Старшина забрал у всех нас соль,

видимо, будет менять ее на продукты у местных жителей. Конечно — для себя и для своих дружков, вряд ли он что-либо предложит мне. Это я говорю на том основании, что накануне всю свою махорку я сдуру отдал ему, но он ничего мне взамен даже не предложил. И вообще у меня такое мнение, что если при нем кто-либо будет умирать с голоду, он лишь переступит умирающего и пойдет дальше.

У меня осталось около 600 граммов хлеба и три стакана крупы. Это я уже оставлю на завтра. Если не удастся в каком-либо селе выкопать картошки, то придется сегодня просто поголодать. Местные жители (суди их Бог!) за молоко дерут безжалостно. Мои компаньоны меняют на молоко полотенца, шинели, портянки. Я этого не хочу, а с другой стороны боюсь, как бы они у меня просто не отобрали эти вещи. Их шестеро штрафников, а я один хлипкий новичок. Скорее бы прибыть в штаб, в настоящий коллектив! Слушая их разговоры, я понял, что к танкистам они не имеют никакого отношения, это они придумали, чтобы попасть в лучшие условия — все-таки технари, а не пехота!

Где теперь мой друг Карташев! Вспоминаю, как мы путешествовали с ним, это же было совсем другое дело!

Продолжаю записывать вечером этого же дня. Сегодня удалось хорошо поесть. Проходили мимо какого-то госпиталя, где нас накормили супом. В одном из заброшенных сел набрали яблок, и я сварил из них пюре. Сегодня уже дальше не пойдем, заночуем здесь.

Завтра уже есть нечего — осталось около 200 граммов хлеба, два стакана крупы и стакан яблочного пюре. Хорошо бы завтра прибыть на место, иначе уже совсем есть будет нечего. Говорят, что до Вязового, где штаб танковой части, около 18–20 километров.

16 июля 1943 г.

Утром поднялись и пошли на Ворово, где и находимся сейчас. Вчера никто не пустил нас ночевать. Обидно за таких людей, но, опять же, я их понимаю. Живут они в погребах, все хаты сожжены немцами, стоят только печи с трубами посреди догорающих углей сгоревших изб. Вот и сейчас мы в таком селе. Оно длинное, нас четверо на одном краю, а старшина Костюк с двумя ближайшими приспешниками ушли вперед. Он сказал, что пойдет по своим делам, а мы часа через три должны подойти на противоположный край села, откуда все вместе пойдем дальше. Боюсь, что старшина куда-то умотает с документами, тогда нам прямая дорога в штрафную роту: без документов и вдали от фронта.

Мы сварили еду в котелках прямо на тлеющих головнях

сторевающей избы (может, это было и кощунством!), хорошо позавтракали. Еще осталось на сегодня 100 граммов хлеба, стакан крупы, стакан готовой каши и чуть более полстакана яблочного пюре. Как я промахнулся, что отдал всю свою махорку, около четырех стаканов, Костюку! Здесь за стакан дают пол-литра молока. А от старшины я ничего не получу. Бессовестный человек! Но суди его Бог! Все равно, идем на передовую, и впереди неизвестно кого уже ждет смерть. Хорошо, если она позовет меня до зимних ужасов, раз уж я все равно не доживу до следующей весны!

Черт возьми! Так и вышло! Старшина с документами так и не появился. Мы пошли сами в направлении села Вязовое, но нас задержали на контрольно-пропускном пункте постовые особого отдела. Красноармейские книжки забрали. На постовых не произвело впечатления, что мы шли в направлении фронта — раз без направления из запасного полка, значит — дезертиры. Держат нас под стражей и пугают штрафной ротой! Какой подлец Костюк! Смилуйся над нами Бог! Неужели пропадать ни за что?

17 июля 1943 г.

Еще раз будь проклят старшина Костюк! Нас привезли на полуторке назад в 146 Армейский полк и сдали оперуполномоченному особого отдела полка. По дороге в Троицком заночевали прямо на сырой земле под автоматами часовых. Утром дали по 400 граммов хлеба, суп, и направили в Теляжье. Оперуполномоченный особенно сильно кричал на меня — из всех четырех я был самый старший по званию — младший сержант. Остальные — рядовые. Какие же они танкисты — там все со званиями! Оперуполномоченный заверил нас, что по 10 лет заключения за «дезертирство» нам обеспечено, а это — три месяца штрафной роты, что равносильно смертному приговору! Оперуполномоченный оставил единственную надежду: если объявится старшина Костюк и подтвердит, что мы просто отбились от него, нас могут оправдать.

В 146 АЗП мы пока находимся на карантине. Сегодня упросили, чтобы нас накормили в обед. Нам дали по тарелке супа, но без хлеба.

Я даже не гадаю о последствиях. Чем же все это для нас кончится? Мои попутчики тоже приуныли, хотя уже побывали в штрафной роте и чудом остались живы.

18 июля 1943 г.

Сегодня оперуполномоченный объявил, что нас арестуют и начнут следствие. Боже, как все обернулось по вине этого подонка-уголовника Костюка! За что же я должен погибать?

Полдень. Нас перевели из карантина в строевую роту, во 2-й взвод. Кроме нас четырех тут еще пять танкистов. Что-то будет? Пройдет все благополучно, или Дамоклов меч опустится?

Сегодня доработал стихотворение, начатое 31 декабря 1942 года, о котором я писал 25 марта, как о прологе к поэме «Хутор Мокров». Я его переработал в обычное стихотворение, написав заново три последних строфы, так как надежды на создание поэмы у меня угасли. Помечу его поэтому двумя датами: «31.12.42г., г. Верхний Уфалей – 18.07.43г., с. Теляжье Орловской области».

Г Р У С Т Ь

Непроглядная ночь над Уралом плывет,
За окном воет ветер угрюмый...
Я, как прежде, встречаю один Новый год
С невеселой, тяжелою думой...

Позаброшенный злою судьбой на Урал,
Забывая лихие невзгоды,
Я с тоскою глубокой не раз вспоминал
Пролетевшие юные годы.

Я смотрел, как за цепью сияющих гор
Рано вечером солнце садилось,
И слеза, злой судьбе справедливый укор,
По щеке моей тихо катилась.

Я грустил, вспоминая Отчизну свою,
Занесенную снегом глубоким...
И среди радостных лиц в этом чуждом краю
Был тогда я душой одиноким...

Бьет двенадцать... За окнами буря ревет,
И в кипящей толпе воспоминаний
Начинается новый, неведомый год,
Год лишений, тревог и скитаний...

19 июля 1943 г.

Вчера вечером я заступил в караул разводящим и узнал, что в полк прибыл Костюк со своими двумя дружками. Я с ним поговорил. Он сказал, что они втроем якобы нас не застали на условленном месте и пошли в Вязово без нас. Но там уже штаба танковых войск не было, и их направили в

первую попавшуюся танковую часть, однако поставили условие — разыскать остальных четырех, то есть нас, и в полном составе прибыть в часть. Это все по его словам, но думаю, что их просто не взяли, убедившись, что они никакие не танкисты. Пока они нас разыскивали, их тоже задержал особый отдел и отправил назад в 146 АЗП. Он сказал, что в отделе укомплектования полка в Теляжьем его ругали за то, что он потерял четверых танкистов, и тогда он там признался, что трое из нас никакими танкистами никогда не были.

Сегодня было общее построение, и нас сняли с наряда. С мнимыми танкистами еще будут разбираться, а меня отпустили, убедившись, что я говорил правду.

Те танкисты, с которыми я столкнулся сейчас, совсем другие люди, во всяком случае — не штрафники. Надеюсь, судьба больше не сведет с такими проходимцами, как Костюк со своей компанией.

Карташев работает на старом месте, я навестил его.

20 июля 1943 г.

День не принес ничего нового. До обеда строили землянку. По радио услышал песню «Сонце низенько...», вспомнил Украину. Неизвестно, ради чего, но нам выдали по 100 граммов водки. Она вскружила мне голову. Сейчас пишу в этом состоянии. Опять с нетерпением жду, когда нас отправят в танковую часть. Спасибо, что уладилось дело с «дезертирством», и меня не ждет уже штрафная рота.

21 июля 1943 г.

Вчера вечером заступил дежурным по роте. Нового ничего пока нет. Денек хороший. Жаль, что в такие дни сидим здесь, а на фронте в трудных условиях придется мириться с осенней стужей. А может и хорошо, что эти теплые солнечные дни я провожу в лесу, среди природы (я уже упоминал, что наш полк расположен в лесу), и они не омрачаются ужасами войны.

Меня радуют последние известия с фронта — крупное продвижение в районе Орла. Взяты Мценск и Малоархангельск. Последний город совсем недалеко от нас. В Средиземном море (я еще не решаюсь называть это вторым фронтом) союзниками занято около половины острова Сицилия, уже пятого итальянского острова, взятого ими. Может быть (слабая надежда!) в этом году или зимой война закончится.

22 июля 1943 г.

Сегодня был на посту у гауптвахты. Арестованный за какой-то мелкий проступок солдат оказался из Харькова, с

Сирохинской улицы, почти сосед! Поговорили (что по уставу является грубейшим нарушением дисциплины!) с ним о Харькове. После этого меня снова охватила тоска по родному дому. И опять мысль, что уже никогда, никогда я не побываю там.

Старшина Костюк сегодня куда-то уехал в командировку к моему огромному удовольствию. Все же меньше шансов снова попасть с ним в одну компанию.

Сегодня, вспомнив о своем стихотворении «Грусть» решил взять эпиграфом к нему строки С.Я. Надсона:

Я встретил Новый год один... Передо мною
Не искрился бокал сверкающим вином,
Лишь думы прежние с знакомой мне тоскою
Как старые друзья, незваную толпою
Нахлынули ко мне с злорадным торжеством...

Вот это стихи! Куда мне, бездарному, соваться со своей мазней. А ведь Надсону было не намного больше, чем мне сейчас, когда он писал эти строки!

Но хватит о грустном. Живется, в общем, неплохо, постоянно находимся в нарядах, жду с нетерпением новой отправки в танковую часть. А лето проходит!.. Скоро осень.

От Орла наши войска всего в 15 километрах!

24 июля 1943 г.

Вчера в 3 часа утра роту по тревоге подняли, отобрали 70 человек (попал и я) и, дав саперные лопаты, отправили в путь, неизвестно, куда. Мы прошли Троицкое, Лимовое, Ворово и Покровское. Там едва успели сварить концентрат и снова в путь через Васильевку и еще через какое-то село. Всего прошли около 50 километров. Согрели чай и легли спать.

Сегодня нас заставили зарывать убитых в июньских боях. В ходе наступления сделать это передовым частям не удалось. Это было первое знакомство с ужасами войны. Вначале было жутко стаскивать мертвые тела в заранее вырытую яму, но потом пришло деловое спокойствие, мы быстро справились с этой неприятной работой. Сейчас варим себе обед.

25 июля 1943 г.

Вчера в заброшенном погребе нашли картошки, каждый взял с собой, сколько смог. Нас повели куда-то дальше. Остановились в рощице и пробыли там до вечера. Переночевали прямо под открытым небом, а сегодня весь день отдыхаем. Вечером должны куда-то переместиться. Продуктов еще не получили, но у нас была еще картошка, хлеб и колбаса. На завтра даже осталось немного крупы.

26 июля 1943 г.

Нас подвели к бывшей зимней прифронтовой полосе.

Безлюдное сгоревшее село называлось Верхнее Столбцецкое. Здесь лежат трупы наших солдат еще с зимы — в валенках и истлевших полушубках. Жуткий запах разложившихся тел. Но нас пока не заставляют убирать эти трупы. Оказалось, что это была нейтральная полоса, сплошь усеянная противопехотными и противотанковыми минами. Когда начали убирать трупы, кто-то подорвался, поэтому работы прекратили и послали за саперами. Пока они не придут и не разминируют полосу, будем просто ждать.

27 июля 1943 г.

Саперы прибыли, но свою работу еще не закончили, поэтому вчера мы ничего не делали. Сегодня, возможно, приступим и к своей работе. Жара спала, идет небольшой дождь.

Узнали, что Муссолини убрали, Сицилия почти вся занята союзниками. Наши войска у Орла, Белгорода и на Донбассе продвигаются успешно. Может, и закончится война в этом году...

30 июля 1943 г.

Вот уже прошло три дня, а мы все не работаем по захоронению трупов. Вчера, правда, около 20 человек немного поработали, но еще не все разминировано. Говорят, что сегодня приступим к работе в полном составе, после окончания которой возвратимся в запасной полк.

Сицилию полностью заняли союзники. Преемник Муссолини по неофициальным данным распустил фашистскую партию и дал свободу всем другим партиям. Орел вот-вот освободят наши войска.

31 июля 1943 г.

Вчера кончилось наше «благоденствие» в Верхне-Столбцецком. Закончили захоронение трупов и сегодня в 5 часов утра двинулись по направлению станции Змиевка, где неделю назад были еще немцы.

Пишу на привале. Прошли село Васильевку и сейчас находимся в селе Котовка. Впереди уже видна станция.

Вечер... Прошли станцию Змиевка и остановились в селе Дурново. Здесь, вроде бы, располагается сейчас наш 146 Армейский запасной полк. Эта деревня почти два года была под немцами, ушли они всего три дня назад. Ни одной целой избы нет — одни печи с трубами посреди тлеющих еще углей. Деревня была очень красивая, но выгорела дотла. Невдалеке слышны разрывы снарядов и выстрелы.

Сварил кашу и плотно поел.

1 августа 1943 г.

Вчера вечером всех нас, специалистов, не считаясь ни с

чем, отправили в стрелковую дивизию. Чего я боялся, то и случилось. Я в пехоте... Ночевали прямо на сырой земле в селе Степном. Сегодня пришли в какое-то другое село, где вчера еще была передовая. Куда попаду и кем буду — неизвестно. Но знаю одно: прощай, танк!

Село это выглядит как и Дурново — ни одной уцелевшей избы, одни догорающие угли да печные трубы.

Вечер. Так и вышло, как боялся. Мы все 70 специалистов — в пехоте. Нас построили, вышел майор — замполит части, и рассказал о боевых традициях полка. Они только что вышли из боя, а завтра — снова в бой. Мы должны быть смелыми и отважными бойцами!

Мои товарищи-танкисты подтолкнули меня задать майору вопрос: «А как же быть с приказом Сталина, предписывающим направлять специалистов строго в соответствующие части? Мы ведь танкисты, нам нужно быть в танковых частях».

Майор дружелюбно ответил:

— Когда полк захватит трофейный танк у немцев, его сразу же передадут вам. А пока повоюйте в стрелковом полку: он вчера понес ощутимые потери, и пополнение, которое вы представляете, очень кстати.

На отдых полк остановился в лесу. Завтра дадут оружие и отправят на передовую в стрелковые батальоны. Очень боюсь, что мне как сержанту (хотя и младшему) дадут в подчинение отделение бойцов, а я полный профан в пехотном деле. Если что и знаю, да и то не по опыту, так это то, что касается танка и радиосвязи.

Обещали покормить, но ничего пока не дали. А голод уже дает о себе знать.

2 августа 1943 г.

Вчера вечером сварил оставшуюся у меня картошку, а потом нас все же хорошо накормили ужином. Записался в роту автоматчиков. Это что-то привилегированное при командире полка, вроде гвардии у Наполеона. Выдали автомат и патроны к нему.

Вышли затемно и шли всю ночь. Сейчас утро. Немного поспали возле какой-то деревни. Рядом — передовая. Похоже, что после завтрака вступим в бой.

3 августа 1943 г.

Вчера все же до вечера отдыхали. Вечером всю нашу команду специалистов распределили по стрелковым батальонам. Выяснилось, что я зачислен во второй батальон. Наш полк имеет номер 422, входит в состав 170 дивизии, которая в свою очередь входит в состав 48 армии.

Помощник начальника штаба полка по стрелковой части (ПНШ-4) капитан Тарасов сказал все же, что я буду не во 2-м батальоне, а остаюсь в составе отдельной роты автоматчиков. Боюсь, что это ненадолго, а я не прочь был бы остаться здесь, раз не привелось вернуться в танк.

Населенный пункт, возле которого мы расположились, называется поселок Кресты. Немцы отступили, и сегодня вечером мы переходим в другую деревню.

4 августа 1943 г.

Вчера вечером прошли село Плоцкое. Штаб должен был находиться в селе Мурашка. Мы не нашли ни этого села, ни штаба, и вернулись ночевать в Плоцкое. Когда шли через лес, встретилось огромное количество грибов. Судя по всему, то были маслята, по крайней мере трубчатые грибы, а не пластинчатые. Я и другие ребята рвали их и поедали сырыми. С голоду они казались очень вкусными. Теперь ясно, какой опасности мы себя подвергали! Можно было наестся ядовитых, да и съедобные грибы опасно было есть сырыми.

5 августа 1943 г.

Продолжаю записывать. На следующий день прошли Мурашки, Малое Рыжково, Большое Рыжково. Здесь и расположились.

8 августа 1943 г.

И, наконец, - мой первый бой! Мимо деревень Ульяновка и Голубицы протекает знаменитый приток Волги — река Ока. Здесь она около 10 метров в ширину и по колено в глубину. Но на западном берегу — немцы, а наш полк должен эту реку перейти и выбить немцев из их позиций.

Страшная жара, суматоха, крики команд и, конечно, оглушительная стрельба. Мысль почти не работала. Бежал вместе со всеми, стрелял, не глядя, куда, впереди мелькали серо-зеленые фигуры. Я понял, что это немцы. Кто-то рядом стрелял, кто-то кричал от боли, другие от возбуждения. Может, кричал и я...

Спотыкаясь, перебежали реку. Немцы побежали. Я еле переводил дыхание, сердце стучало так, что я подумал — вот тут оно и разорвется. Пришло в голову, что в детстве у меня было осложнение на сердце после простуды, я был освобожден в школе от всяких физических нагрузок, даже от занятий по физкультуре, и действительно физические нагрузки переносил с трудом.

Пот застилал глаза, автомат стал горячим от выстрелов.

После того, как немцы бежали из своих окопов, наш полк вышел из боя.

Вчера вечером, находясь в наряде по охране полкового знамени при штабе, я увидел, что писари выписывают извещения семьям погибших, так называемые «похоронки». Я попросил разрешения взглянуть в книгу учета личного состава, в которую всех нас 70 человек записали при поступлении в полк. В одной из последних граф были сделаны пометки: «Убит и похоронен 300 метров северо-западнее деревни Голубицы». Таких пометок не оказалось только у двенадцати человек из семидесяти, что прибыли вместе со мной в этот полк. Все остальные мои товарищи по команде специалистов 146 АЗП полегли при форсировании реки Оки у села Ульяновка (или у села Голубицы, как говорилось в «похоронках»).

Это был первый подарок судьбы — уцелеть после первого боя.

Вчера днем, догоняя полк, мы с моим новым товарищем по роте автоматчиков Зайцевым, заблудились в лесу и ушли в сторону. Мы долго искали свою часть, прошли через село Георгиевку, снова переправились через Оку (теперь уже в спокойной обстановке) и в селе Ульяновка догнали свой полк. Ульяновка находится в 23 километрах южнее Орла.

Я послал письмо Соколу в хутор Мокров.

В штабе узнал, что наши войска заняли Орел, Белгород и продвинулись на 60 километров в сторону Харькова. Интересно, что я нахожусь почти рядом с домом — до Харькова около 300 километров, что совсем рядом, если сравнивать с расстоянием от Урала или даже от хутора Мокрова до Харькова... Может, скоро Харьков освободят.

11 августа 1943 г.

Позавчера вышли из Касьянова, где до этого стояли (в записях от 8 августа я ошибочно назвал это село «Ульяновкой») и пришли в какое-то село, где стоим и сейчас. По пути прошли много деревень, но запомнилось название лишь одной из них — Нижне-Федотовка.

8 августа послал письмо Карташеву. После сражения, которое я описал 8 августа, наш полк в боях не участвует.

Я пока на старом месте — в роте автоматчиков. Живется исправно.

Вечер. Сейчас покидаем деревню, имя которой Озерки. Полк движется на юг, на родную Украину.

13 августа 1943 г.

Всю ночь с 12 на 13 августа шли на юг, прошли деревни Долженково, Красная Роща и дневали в селе Волобуево. Всего прошли 26 километров. Следующую ночь продолжали двигаться на юг с незначительным отклонением к западу.

Остановились в хуторе Ново-Алексеевском, прошли большой хутор Петровский. Сейчас находимся в лесу. Такое впечатление, что фронт остался где-то далеко. Не слышно ни разрывов снарядов, ни стрельбы.

14 августа 1943 г.

На днях должны освободить Харьков — так можно понять из сводок. Спустя неделю после того напишу домой письмо и буду писать через каждые 10 дней. Авось, какое-либо письмо и дойдет до матери.

15 августа 1943 г.

Продвигаемся все дальше на юг. За нами легли хутора Асмось, Неварь и многие, многие мелкие другие, названия которых я не установил. Одни из них совсем стерты с лица земли, как, например, села Стобецкое, Волобуево, другие сожжены, как Мурашки, иные уцелели.

Теперь мы уже в Курской области, в полосе лесостепи. Какие роскошные дубовые леса! Как напоминают харьковские пригороды — Покотилровку, Карачевку, Высокий Поселок, где я проводил свое детство! Скоро, может, будем на Украине. Немцы отступают. Узнали, что уже идут бои на окраинах Харькова. Скоро его должны освободить, может, это уже и случилось!

17 августа 1943 г.

Сегодня год, как я в армии. Стоим в каком-то разрушенном селе у передовой. В ночь с 15 на 16 августа я наблюдал почти полное лунное затмение.

19 августа 1943 г.

Сегодня покинули то село, в котором стояли с 17 августа. Его название — Ильинское.

Снова я принял участие в бою. Мы перешли на левый фланг. Нам показали небольшую высотку, перед которой проходила железная дорога в полукилометре от нас. Мы расположились в поле в каких-то ранее выкопанных кем-то землянках. За железной дорогой немцы, в том числе и на высотке. Ее нам приказали взять. Накануне одному из наших батальонов сделать это не удалось. На подмогу подключили другой батальон и нашу роту автоматчиков.

После команды «В атаку!» мы кинулись вперед. Здесь мне стало по-настоящему страшно, не то, что при форсировании Оки под Голубицей. Когда мы бежали по склону наверх, над нами выли мины и снаряды, которые рвались буквально рядом. Все время приходилось перепрыгивать через трупы наших солдат, которые остались от предыдущей атаки. Жутко было смотреть на эти мертвые тела, что лежали в самых разнообразных позах. Не помню, как мы добежали до

вершины к окопам немцев. Их уже там не было, они не выдержали атаки и отступили.

Среди убитых я увидел тело батальонного писаря Петрова. В свое время он регулярно забегал в штаб полка со строевыми сведениями, и я его хорошо знал. Последнюю сводку после этого боя за него уже сделает кто-то другой...

23 августа 1943 г.

Все идет в том же плане. Отошли от передовой во второй эшелон. Что-то нет известий от Карташева и из Мокрова.

Стоим в каком-то селе в очень хорошо сделанной немецкой землянке. Боимся, не взорвется ли она! Вчера в одной из таких землянок расположился командир дивизии. В ней была заложена мина, которая и взорвалась. К счастью, комдив с обслугой был на передовой, пострадали лишь его вещи. После этого немецкие землянки стали проверять саперы. Непроверенных мы, понятно, избегаем. Но нашу вроде бы проверили.

24 августа 1943 г.

Большая радость! Вчера освободили Харьков! Через неделю пошлю письмо матери.

Пора уже записать, что я узнал о нашей части. Нашим 422 стрелковым полком командует полковник Михайлов, начальник штаба — майор Канивец. Полк входит в состав 170 стрелковой дивизии, которой командует полковник Цыпленков Семен Григорьевич. Дивизия входит в состав 42 стрелкового корпуса — командир генерал-лейтенант Колганов Константин Степанович, а корпус находится в составе 43 армии под командованием генерал-лейтенанта Романенко Прокофия Логвиновича. Все мы находимся в составе Центрального фронта, командующий которым — генерал армии Рокоссовский Константин Константинович.

2 сентября 1943 г.

Живется по-старому. Продвигаемся вместе с дивизией, отесняя немцев на запад. Сейчас стоим в селе Угреничи, прошли перед этим села Юрьевку, Добручек. Немцев гонят кругом — на Брянском направлении, на севере, на Украине. Освободили Таганрог.

Нет писем ни из Мокрова, ни от Карташева. Чувствую себя нормально. Буду регулярно писать письма домой — тлеет искра надежды.

В свое время мы слышали о новом оружии — «катюше», а сегодня мне довелось увидеть его в действии.

Недалеко от нас находилась рощица, мы же расположились в ложине неподалеку. Вдруг к рощице подъехало несколько — пять или шесть — грузовиков, у

которых вместо кузова было какое-то сооружение, накрытое брезентом. Машины выстроились в ряд передом к передовой, чехлы сняли. Под ними оказались наклонные рельсы с прикрепленными снарядами. Вдруг поднялся страшный рев, машины окутались огнем, по рельсам одна за другой в небо понеслись снаряды, за которыми тянулся огненный хвост. Через минуту или две снаряды были выпущены, машины тут же быстро развернулись и уехали.

В свое время мы как-то проходили через поляну, на которой травы не было — вся поверхность почвы была черная и горелая, как формовочная земля в литейном цехе, которую я видел на заводе в Нижнем Тагиле. Нам сказали, что это место, куда падали снаряды «катюш». Не зря нам говорили, что немцы панически боялись попасть под огонь этих орудий.

5 сентября 1943 г.

На Украине, здесь и на севере, — успешное продвижение наших войск, особенно на Украине. Кроме того, есть неподтвержденные слухи, что союзники высадились в Италии.

Живется так же. Понемногу продвигаемся вперед. Прошли поселок Владимировский и сейчас находимся в селе Игрицкое. Рядом, около пяти километров от нас — Брянские леса с партизанами. Все не верится, но возможно, конец войны близок. Письмо домой отослал еще в том месяце.

7 сентября 1943 г.

Уже началась осень, но я что-то не очень впадаю в панику по поводу предстоящих холодов. Все же это не Урал, может, зима и не будет суровой. Немец бежит. Наш полк движется за ним на юго-запад. Орловская и Курская области остались позади. Мы уже вступили на Украину в Сумскую область. В ночь с 5 на 6 сентября прошли населенные пункты Война, Кокушкино, Невдольск, Шиловка, село Зерновое (это уже в Сумской области), райцентр — город Середина-Буда. В ночь с 6 на 7 сентября оставили за собой села Черноватское и Пигаревку.

От больших двухэтажных зданий города Середина-Буда остались лишь стены. Остановились в селе Пигаревка. Население встречает очень хорошо. Я занял для наших ребят одну из изб. Затем подошли еще двое автоматчиков. Капитана Тарасова и его людей еще нет, наверное, заблудились и отстали, как случилось и со мной во время ночных переходов.

Вечер. Собрались вроде все. Зайцева перевели из роты автоматчиков в стрелковый батальон. Может, скоро и моя

очередь, если в батальонах останется мало людей.

Союзники занимают Италию.

11 сентября 1943 г.

Мы стоим сейчас в лесу недалеко от реки Десна, которую форсируют наши части, но не наша дивизия. Мы после недавних боев находимся во втором эшелоне. Накануне прошли села Вовна, Глазов.

Уже освобожден Мариуполь. 9 сентября Италия капитулировала. Надежда на скорое окончание войны растет!

18 сентября 1943 г.

Вчера утром перешли реку Десна и вошли в город Новгород-Северский. Два дня назад его освободила наша 48 армия. 170 дивизия в освобождении не участвовала, мы вошли в уже освобожденный город. Переходили Десну по шаткому временному настилу из бревен, иногда соскальзывая в воду. Город расположен на правом, западном крутом берегу. Разрушен сильно. По улицам валяются вещи из домов, разваленных бомбами и снарядами. Я подобрал несколько книг, может, удастся почитать или даже сохранить на память. Сегодня же двинулись дальше.

22 сентября 1943 г.

Прошли село Ивановку и городок Семеновку. Сейчас стоим в селе Хотеевка. Наши ребята где-то подобрали пишущую машинку «Ундервуд» и отдали ее в штаб. Сейчас все пробуют на ней печатать, в том числе и я.

Узнали только что об освобождении Чернигова. Это юго-западнее нас в 120 километрах. Письма домой отправляю регулярно.

25 сентября 1943 г.

Опять мы в Орловской области (так записано в блокноте. Сейчас это уже Брянская. Видимо, в то время Брянской области еще не было, и ее нынешняя территория относилась к Орловской). Названий сел, которые мы проходили, не запомнил. Движемся по направлению к Гомелю. Скоро будем в Белоруссии. Население встречает хорошо, но видно, что их и немцы не успели тронуть — села в основном сохранились, полностью сгоревших пока еще не встречали. Видно, немцы так спешили отступать, что им было не до поджогов.

26 сентября 1943 г.

Идем теперь прямо на запад. Через 6 километров Белоруссия. К вечеру будем там.

Забыл упомянуть, что 15 сентября получил письмо от Карташева и послал ему ответ.

Есть слухи об освобождении Смоленска.

2 октября 1943 г.

Все эти дни писать было некогда. Стремительно идем вперед по пятам немцев. А вчера для меня был день величайшей радости: я получил письмо из дому! Мать и отец живы! Мало того, они получили письмо от брата Владимира (его адрес теперь п/п 53031), от тети Наты (мамина сестра) из Аргентины, где она со своим мужем Григорием Федоровичем Резановым, послом СССР в этой стране. Тетя Ната, в свою очередь, переписывается с дядей Васей, тетей Лидой и Мишей (мамины братья и сестры). Теперь мы все имеем известия друг о друге. Слава Богу, мать, отец и брат живы! Бабушка и дедушка (родители папы) умерли, дедушка в 1941 году, бабушка — в 1942-м. Мне их очень жаль! Но ведь все остальные живы! Вчера же написал домой ответ родителям, вложил в письмо справку, что я нахожусь в действующей армии, она им пригодится, а также 500 рублей денег, что собрал за то время, когда был танкистом. Сейчас мне положено всего 12 рублей в месяц, как младшему сержанту — пехотинцу. Сегодня же напишу письмо брату.

11 октября 1943 г.

5 октября получил еще одно письмо из дому. В конверте обнаружил пару листов чистой бумаги. Оказывается, дома получили мои февральские письма, которые я писал на кусочках пергаментной бумаги, той, что мы заворачивали форсунки на свердловском заводе № 76. Родители поняли так, что у меня нет бумаги для писем и выслали чистые листы. Но нас на фронте бумагой для писем обеспечивают, в крайнем случае, всегда можно выпросить несколько листиков у писаря в штабе.

Где же находились эти письма более чем полгода, пока Харьков находился второй раз в руках у немцев? Почте нашей нужно выразить огромную благодарность. Проще всего было выбросить их после второго взятия города немцами в марте. Но письма все же дождались августовского освобождения города и попали по адресу!

Наш полк уже вступил в бои, и сейчас мы находимся в городе Ново-Белица. Это часть Гомеля, находящаяся на восточном берегу реки Сож. По ту сторону — Гомель, а в нем немцы.

Когда мы подошли к Ново-Белице, обнаружили, что на железнодорожном полотне каждый стык рельсов был разворочен, концы рельсов были какой-то силой вырваны и выгнуты вверх. Мы думали, что все это сделала какая-то чудовищной силы машина. Потом секрет обнаружился. Под

каждым стыком немцы закладывали толловую шашку, вставляли в нее бикфордов шнур, другой конец которого клали на рельс. Затем по этому участку ехал паровоз, под давлением его колес бикфордов шнур загорался и через какое-то время толловая шашка взрывалась. Паровоз к тому времени был уже далеко. Мы это узнали, обнаружив несколько не взорвавшихся шашек — шнур был расплюсцен, но почему-то не загорелся.

Как будем брать Гомель — не представляю. Река Сож здесь довольно широкая, а западный, правый ее берег, на котором расположен Гомель, довольно высокий.

7. БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

7 ноября 1943 г.

Почти месяц я ничего не записывал. Сегодня праздник Октябрьской революции. Мы его проводили в лесу. Узнали радостную весть, что наши войска освободили Киев и Керчь. В честь праздника нам выдали по 100 граммов водки, так что настроение улучшилось. Сейчас запишу все, что произошло за это время.

Прежде всего, наш фронт стал называться Белорусским. В составе дивизии ничего не изменилось. Она предприняла несколько неудачных попыток форсировать реку Сож и овладеть Гомелем, но ничего не получилось. Многие из моих товарищей при этом погибли, меня Бог миловал.

В Ново-Белице в одном из брошенных жителями домов мы подобрали патефон и несколько пластинок. На них встречались песни в исполнении Собинова и Вяльцевой. Не помню, в чьем исполнении, был и романс «Калитка», который мы постоянно крутили.

Однажды группа наших автоматчиков вернулась после очередной неудачной попытки разведать позиции немцев на правом берегу реки Сож. Они принесли нашего тяжелораненного товарища. Мы собрались доставить его в медсанбат, но он попросил перед этим завести патефон и поставить «Калитку». Пластинка еще крутилась, когда мы обнаружили, что раненый, не дослушав ее до конца, умер.

В конце октября нашу дивизию сняли с передовой на отдых и отвели в город Добруш, восточнее Ново-Белицы. Этот город был освобожден нашим корпусом еще 10 октября. Там мы пробыли сутки, затем двинулись на север и остановились в лесу в 6 километрах от города Ветка. Простояли около шести дней, и снова пошли на юг. Прошли снова Добруш, затем село Жгунь.

1 ноября я чуть навсегда не отстал от своей части. Мы двигались ночью по лесной дороге в абсолютной темноте, изредка делая привалы. Темнота немного отступала лишь тогда, когда над передовой поднимались осветительные ракеты. На очередном привале я выбрался на относительно сухой пригорок чуть в сторону от покрытой водой и грязью дороги, присел и незаметно уснул. Когда я открыл глаза, кругом стояла мертвая тишина, я был один в лесу, полк ушел дальше. При мне не было ничего. Автомат и вещмешок были на обозной подводе, оставались лишь документы в кармане гимнастерки. Я с ужасом осмотрелся, затем определил направление, по которому следовало идти — я помнил, что присел отдохнуть справа от дороги по ходу колонны — и пошел вдогонку.

При свете ракет можно было различать залитую водой колею, оставленную в грязи колесами подвод. В одном месте дорога уперлась в широченную лужу. Я пересек ее по щиколотку в воде, и когда выбрался на твердую землю, следов от колес не обнаружил. Походив взад-вперед, я их так и не нашел. Я пошел наугад, забрел опять в воду, наконец, понял, что заблудился.

При свете очередной осветительной ракеты, я обнаружил, что кругом меня лишь вода и болотные кочки. Где-то лаяли собаки, очевидно, там была деревня. Я двинулся туда, но забрел в воду уже выше колена, и понял, что дальше блуждать в темноте бесполезно.

При свете следующей ракеты я увидел, что кое-где стоят копны скошенной болотной травы. Сообразив, что на такой копне я смогу переночевать, я направился к ближайшей из них, перескакивая с кочки на кочку. Я уже достиг копны, как вдруг провалился в воду по грудь. Очевидно, она была окопана кольцевой канавой для отсоса воды летом. Чуть ли не вплавь, я добрался до копны и залез на ее верхушку. От холода у меня стучали зубы. Я вырыл в сене ямку, забрался в нее, мокрые брюки и портянки разложил по копне для просушки, накрылся полумокрой шинелью, согрелся и заснул.

Рано утром я проснулся и огляделся. Копна стояла посреди воды, из которой тут и там выступали болотные кочки. Деревни видно не было, но собаки иногда подавали голоса. В сторону деревни тянулось широкое болото, залитое водой. Зато в противоположной стороне, метрах в 200-300 от меня стеной стоял лес, значит там была твердая почва. Идти нужно было туда.

Я оделся. Портянки и брюки относительно просохли,

ботинки, конечно, были сырыми. Одевшись, я начал добираться к твердой земле, прыгая с кочки на кочку. При свете дня мне это неплохо удавалось, пока я не подошел к краю болота. Оказалось, что между лесом и болотом была широкая, метра в два, канава с водой, перепрыгнуть которую без разбега я не мог. Я увидел неподалеку поваленную через канаву березку и решил перебраться по ней на другую сторону. Ствол был толщиной в руку. Я осторожно продвигался по березке, которая под моей тяжестью стала погружаться в воду. Вдруг моя нога соскользнула, и я по шею оказался в воде. Ноги мои дна не почувствовали, и я начал барахтаться, чтобы преодолеть оставшиеся полметра. Наконец, я выбрался на сушу мокрый с головы до пят. Вся моя ночная просушка пошла насмарку. Меня снова стал бить озноб от холода, и я понял, что мое спасение в быстрой ходьбе.

По краю леса шла твердая дорога, я наугад пошел по ней влево. Почему не вправо, я объяснить не могу — так мне показалось вернее. Я долго и очень быстро шел, чтобы скорее просохнуть и не околеть от холода. В одном месте я обнаружил у дороги сгнивший пень большого дерева, на котором кто-то из проходивших ранее солдат разжигал костер. Гнилой пень. Гнилой пень еле тлел. Я присел, протянул к тлеющим углям руки и несколько минут отогревался.

Отдохнув, я снова двинулся в путь, даже не зная, куда я иду. Я шел уже несколько часов, было далеко за полдень, когда я догнал движущуюся в том же направлении какую-то артиллерийскую часть. Впереди ехал верхом на лошади офицер. Я подошел к нему и спросил, не знает ли он, куда перешла 170 дивизия. Этого он не знал, но сказал, что многие части перебрасывают на ту сторону реки Сож. Показав карту, он посоветовал идти в том же направлении до переправы через реку, перейти на ту сторону и двигаться по дороге влево. Где-то там должны были располагаться части 48-й армии. Там я мог бы узнать дислокацию своего полка.

Я так и сделал. Падая от усталости и далеко опередив артиллеристов, я, наконец, добрался до переправы и на той стороне обнаружил брошенные немецкие землянки. Они были красиво отделаны тонкими стволами березы, на земляных лежанках было сухое сено.

Я прилег, но тут же спохватился, что если вдруг усну (а уже вечерело), то уже не найду свою часть. Пересилив себя, я снова пошел по дороге. Уже стемнело, когда я услышал в лесу в стороне от дороги голоса и увидел огонь костра. Я

пошел на огонь, и по счастливой случайности оказался прямо в расположении 422 стрелкового полка. Разузнав, где рота автоматчиков, я добрался и до их костра. Я даже не смог ответить на вопросы, где я пропадаю почти сутки, лег у костра и тут же заснул.

На другой день мы переправились через реку Днепр, в которую Сож впадает чуть южнее.

Получил в эти дни письмо из дому и от дяди Васи, а также от своего товарища по детским годам, соседа Васи Пономаренко, тоже с фронта. Нет только письма от брата. Из дому получил адреса Бориса Водяницкого (моего одноклассника) и Вани Борзосекова (друга моего брата).

27 ноября 1943 г.

За эти 30 дней многое произошло. Переправившись через Днепр, мы двинулись вдоль реки прямо на север. Однажды ночью нам пришлось переночевать в каком-то сарае. В темноте нащупал солому и что-то твердое, на что я положил голову и заснул. Утром я с ужасом увидел, что лежу головой на трупе немца, у которого к тому же крысы объели все лицо.

Добравшись до города Речица наш полк с ходу вступил в бой.

Когда мы бежали вдоль окраины города, я увидел под деревом батальонную телефонистку в ватных брюках и телогрейке. Она хриплым голосом выкрикивала какие-то команды, которые сообщали ей связные. Кругом все ревели от разрывов мин и автоматных очередей. Я бежал вместе с другими, стреляя куда-то вперед. Наконец мы остановились, и я увидел убегающих к лесу немцев. Их продолжал преследовать батальон справа. Командир роты скомандовал нам вернуться в город. Когда мы подошли к тому дереву, под которым сидела телефонистка, я увидел воронку от снаряда примерно метровой ширины, а на ветвях висела нога в ватнике — все, что осталось от телефонистки после прямого попадания снаряда. Чувства, однако, были настолько притуплены, что этот случай, как и многие другие, казался вполне обыденным.

17 ноября наша дивизия взяла город Речицу с юга и получила название «Речицкой».

После освобождения Речицы мы вышли из боя и, находясь во втором эшелоне, добрались до места, где в Днепр впадает река Березина. Сейчас стоим в городке Горваль.

Получаю письма от всех родственников.

Недавно мне вручили документ за подписью командира полка полковника Михайлова о том, что за освобождение города Речицы мне (как и всем другим) объявлена

благодарность Сталина.

5 декабря 1943 г.

Получил письма от Володи, дядя Васи, тети Лиды, Тимофея Григорьевича (ее мужа), Михаила, Васи Пономаренко.

Сейчас стоим в селе Новая Корма. В пяти километрах через болото железнодорожная станция Мормаль, в которой расположены немцы. Говорят, что на этой станции стоит немецкий бронепоезд с тяжелым артиллерийским орудием. Оно регулярно выстреливает, в том числе и по нашей деревне. Однажды мы чуть не стали жертвами этого обстрела.

Мы сидели в избе, как вдруг услышали вой снаряда. Тут же, буквально в трех метрах от избы, упал снаряд. В избе посыпались стекла. Мы не успели опомниться и еще не выскочили из избы, как снова услышали такой же вой снаряда. Все попрыгали в вырытую рядом с порогом щель. Когда я приготовился тоже прыгнуть в нее, ближайšie места были уже заняты капитаном и тремя автоматчиками. Мне пришлось обогнуть щель. Все это — в считанные секунды, пока выл снаряд. Только я выпрыгнул в щель, как нас всех подбросило от нового взрыва. Когда осела пыль, мы увидели, что оба снаряда легли настолько близко друг от друга, что воронки от них, каждая диаметром примерно 2,5–3 метра, сошлись своими краями. В этом месте хозяева, покидая прифронтовую зону, спрятали в погребке или просто в яме свой скарб. Взрывом все эти вещи — сундук, коробки, узлы и прочее — были выброшены на поверхность, в том числе и прялка, которая к тому же стала на свои четыре ножки на самом краю вывороченной земли.

Всего за время пребывания в Новой Корме в нашем дворе упало четыре таких снаряда, правда, два из них — подальше от избы.

Этот случай развеял два широко распространенных мифа.

Первый — что в одно и то же место не могут упасть два снаряда. Мы убедились, что если не точно в одно и то же место, то, по крайней мере, настолько близко, что воронки практически сольются в одну, вполне могут.

И второй миф. «Знатоки» говорили, что если снаряд летит прямо на тебя, то ты не слышишь его воя, а если слышишь, то волноваться, мол, не надо — снаряд уже пролетел мимо.

В данном случае мы ясно слышали вой приближающихся снарядов в обоих случаях, а падали они практически прямо на нас, и если бы мы не находились сначала в избе, а потом в щели, мы были бы изрешечены осколками.

Это же наблюдение подтвердилось еще в одном случае в той же Новой Корме. В трех километрах от нее, на пригорке, расположился наблюдательный пункт (НП) полка, к нему вела от нас широкая грунтовая дорога. Однажды капитан отправил меня на НП с каким-то поручением. Я шел по дороге и вдруг услышал вой приближающегося снаряда. Какою-то долю секунды я прикидывал, сразу ли мне падать на землю, или бежать вперед. Что-то подсказало мне упасть на дорогу немедленно. Вой достиг неистовой силы и закончился взрывом прямо передо мной на расстоянии 2-3 метров. Снаряд летел сзади, и осколки в основном полетели вперед, меня лишь осыпало землей и оглушило. Если бы я не бросился на землю сразу, а побежал бы вперед, снаряд угодил бы прямо в меня. А между тем я слышал его нарастающий вой до того, как принял решение упасть на землю.

Гомель взяли без нас дней десять тому назад.

12 декабря 1943 г.

Получил письмо от товарища моего брата Ивана Борзосекова. Он оказался в Москве. Из дому мне сообщили, что многих моих девочек-одноклассниц немцы угнали в Германию.

Все еще стоим в Новой Корме, а немцы все там же, в Мормале. И день, и ночь наша деревушка подвергается жестокому артобстрелу. Пока еще живы и невредимы, и слава Богу!

15 декабря 1943 г.

Вчера был день, который надолго остался в моей памяти. В этот день нашей дивизии приказали взять у немцев станцию Мормаль. Атаке предшествовала часовая артиллерийская подготовка. Что творилось вокруг, трудно описать. Видимо, все орудия, которые только были, открыли огонь по станции. Затем поступил сигнал к атаке. Вместе с батальонами в прорыв бросили и роту автоматчиков. С нами ушел в атаку и ПНШ-4 капитан Тарасов. Мы бросились к станции еще при продолжающемся артобстреле, пересекли болото и поднялись на железнодорожную насыпь. За ней располагалась станция Мормаль. Со мной рядом оказался один из моих товарищей по имени Иосиф Петрович Калюжный. Он родом был из Харьковской области, на этой почве мы и сдружились.

Только мы пересекли железнодорожную насыпь, как немцы поднялись в контратаку. Нас засыпали минами и автоматными очередями. Наша атака захлебнулась. Ребята дрогнули и повернули назад, в том числе и мы с Калюжным.

Видимо, артналет не дал ожидаемых результатов, немцы оказались хорошо укрытыми и не понесли ощутимых потерь. Они тучей выскочили из укрытий и бросились на нас. Силы оказались далеко не равными, нам ничего не оставалось, как отступить. Не помню, как мы перемахнули железнодорожное полотно, скатились с насыпи в болото и зигзагами побежали назад. Немцы нас не преследовали, но открыли яростный огонь из минометов. Рядом то и дело шлепались мины. Благодаря вязкому болоту, они погружались в трясину, и те, что затем взрывались, поднимали лишь фонтаны грязи. Это нас спасло. Прыгая с кочки на кочку и то и дело падая прямо в воду, когда рядом завывала мина, мы уходили назад и молили лишь Бога, чтобы немцы не бросились в наступление на Новую Корму.

Лежа рядом с Калюжным во время разрыва одной из них, мы дали друг другу слово, что если погибнет один из нас, другой подробно напишет его родным, как все происходило.

К счастью, немцы не стали развивать свой успех, удовлетворившись тем, что сорвали наше наступление, которое так капитально нами готовилось. Они вновь овладели Мормалем и железнодорожной веткой, а мы, полумертвые от усталости и пережитого, возвратились в Новую Корму.

18 января 1944 г.

Мы уже больше месяца топчемся на одном месте. После Новой Кормы мы немного побыли в селе Липово, потом в большом селе Страковичи, где и встретили без особых торжеств Новый год. Сейчас находимся в хуторе Самараж.

В Страковичах меня вдруг вызвал к себе оперуполномоченный Особого отдела капитан Катков. Он долго расспрашивал меня о моих родственниках. У меня похолодело внутри. Неужели кто-то из них оказался «врагом народа» и меня ждет «расплата»? Лишь в конце разговора капитан сказал, что меня разыскивает мой дядя, брат матери, Мурзин Михаил Иванович (в свое время он поменял отчество, «Иустинович» ему не нравилось). Оказалось, что, узнав мой адрес от мамы, Миша обнаружил, что мы с ним находимся в составе одного фронта. Он решил меня разыскать. Как оказалось, он служил в должности начальника 2-го отдела Управления контрразведки «СМЕРШ» Белорусского фронта.

Позже я узнал, что при штабах всех фронтов были созданы такие управления. На них была возложена задача выявления и ликвидации шпионской сети, широко используемой немцами в войне. Аббревиатура «СМЕРШ» расшифровывалась

как «смерть шпионам». В действующих частях на работу в подразделениях «СМЕРШ» были переориентированы бывшие Особые отделы НКВД, которые ранее занимались вылавливанием неугодно мыслящих и по доносам окружающих «изобличали» огромное число невинных людей, отправляя их в лагеря и тюрьмы. Сейчас эту неблагоприятную работу отчасти перебросили на политотделы подразделений, а «СМЕРШ» занялся лишь вылавливанием перебежчиков как к нам от немцев, так и наоборот, и тайно действующих шпионов и разведчиков. Поэтому и называлась эта организация «контрразведкой».

К НКВД Управление «СМЕРШ» никакого отношения не имело и было в прямом подчинении лично Сталину. Отделы контрразведки «СМЕРШ» помимо фронтов были созданы в армиях, корпусах и дивизиях, а в полках и приравненных к ним подразделениях были лишь оперуполномоченные по одному на часть в звании от старшего лейтенанта до капитана. У нас в 422 стрелковом полку таким и был бывший оперуполномоченный Особого отдела капитан Катков.

Капитан сказал, что Миша собирался заехать к нам в часть провести меня, чему я очень обрадовался. Но посоветовал никому ничего об этом не говорить.

А у нас после боев стали сокращать разные подразделения, в том числе и роту автоматчиков, чтобы пополнить стрелковые батальоны, которые понесли ощутимые потери во время последних боев. Фронт сейчас стабилизировался, но пополнения не поступает. Жду и я, когда меня отправят в обычную стрелковую роту.

Недавно получил долгожданное письмо из Мокрова. Пишет Дуся, дочь Якова Афанасьевича Селиверстова (Сокола). Нет писем от Бориса Водяницкого и от дяди Васи. Остальные все пишут.

Опять напала тоска. После того, как я узнал, что все родные живы и здоровы, так не хочется умереть! А на передовой этого можно ожидать с минуты на минуту. Вся надежда на судьбу, может, она будет ко мне благосклонна. Как суждено, пусть так и будет! Может новый, 1944 год будет моим последним, ибо конца войны пока не видно.

27 января 1944 г.

Сегодня меня за что-то выругал капитан Тарасов. Мне кажется, что без всякого основания. Но я чрезмерно впечатлительный, многое сильно преувеличиваю. Вот и сейчас у меня не выходит из головы мысль, что в роте автоматчиков я держусь на волоске. Что ж, спасибо и за то, что полгода я был как-никак в привилегированном

подразделении.

Письма получаю от всех, кроме Водяницкого и дяди Васи.
31 января 1944 г.

Два дня назад вдруг приехал Михаил. Он в звании майора. Побыл несколько минут и уехал. Уже потом от капитана Каткова я узнал, что он наметил перевести меня к себе в «СМЕРШ». Не знаю, кем буду там, не хотелось бы превратиться в канцеляриста или писаря. Здесь, хотя и прямо на передовой, мне было не так уж и плохо, разве что все время нависала опасность смерти. При встрече с Мишей я так и ответил ему на вопрос, как мне тут живется. Неохота опять возвращаться в тыл, хотя и не очень глубокий, каким является штаб Белорусского фронта. Опять возлагаю все на судьбу.

Вдруг заметил, что уже прошел второй месяц зимы, а я ни разу не вспомнил о морозах и холодах, которых я так панически боялся в 1941 и 1942 годах. Сильных морозов здесь еще и не было, ходим зачастую в одних телогрейках без шинелей.

16 февраля 1944 г.

Кратко опишу все, что произошло за последние полмесяца. 2-го февраля капитан Тарасов вдруг откомандировал меня с вещами в 4-й отдел штаба дивизии. Там сказали, что я должен явиться к начальнику отдела «СМЕРШ» дивизии майору Королеву. Когда я зашел к нему, он вручил мне пакет, который я должен был передать в УКР «СМЕРШ» Белорусского фронта начальнику 2-го отдела майору Мурзину (то есть моему дяде Мише). Я выехал 3-го февраля из Страковичей и направился в село Красная Слобода, где располагался штаб фронта. По дороге попался попутный грузовик, шофер посадил меня к себе в кабину и довез до городка Буда Кошелевская, откуда я и добрался до штаба фронта. Вечером я был уже у Миши. В пакете был просто чистый лист бумаги. Оказалось все же, что майор Королев не оформил мои документы так, как они с Мишей договаривались. Оказалось, что они решили ввиду моего нежелания уходить с передовой, перевести меня всего лишь на ступеньку выше — из роты автоматчиков полка во взвод охраны СКР «СМЕРШ» 170 дивизии, то есть непосредственно в распоряжение майора Королева. Для того чтобы все это узаконить, я снова уехал в штаб дивизии. Ночью я был опять в Страковичах, но штаб уже переехал в село Самараж, куда я добрался к вечеру 5 февраля.

Королев вписал в мою красноармейскую книжку мое перемещение по службе, расписался, скрепил печатью, и в

ту же ночь я снова выехал в штаб фронта, куда добрался к вечеру 6 февраля.

Утром 8 февраля вместе с Мишей мы отправились в Харьков — он взял для этого отпуск, а я ехал в качестве его сопровождающего. В эти дни из эвакуации в Харьков к моим родителям должна была приехать Мишина жена Галина Михайловна, и он попросил отпуск для того, чтобы благоустроить ее в Харькове.

На легковой машине М-1 мы добрались до города Нежин утром 9 февраля, а утром 10-го сели на поезд и 11 февраля прибыли в Харьков. Подъезжая, поезд долго стоял перед городом у какого-то взорванного во время боевых действий железнодорожного моста. Мост был восстановлен так, что через него проходил лишь один путь. Если ожидался встречный поезд, то приходилось долго ждать своей очереди. Хотя мы простояли всего около получаса, нам это показалось вечностью. Вдали виднелся родной город. Холодногорская церковь, заброшенная еще в мирное время, со снятым крестом и опустевшей колокольней, мрачно возвышалась над домишками Холодной Горы. Я вспомнил, как раньше она мне казалась обезглавленным великаном. Это сходство и сейчас бросилось мне в глаза.

Дальше я смутно различил пожарную каланчу, которая находилась в пяти минутах ходьбы от моего дома, а рядом с ней Гольдбергскую церковь, которая примыкала ко двору 14-й (позже — 7-й) школы, в которой я провел свои юные годы. Сердце мое учащенно билось... Наконец, поезд тронулся. Я не отрывался от окна. Вскоре ближайшие дома заслонили собой все вокруг, над головой проплыл Холодногорский мост. Поезд остановился, и мы с Мишей вышли.

Вокзал был совершенно разрушен. Ничего не осталось от красивого здания с куполом, одни груды кирпича разбросаны были повсюду. Не везде даже были восстановлены деревянные постройки. Напротив вокзала, где был почтамт, высился обгоревший каркас из железных прутьев и местами обвалившегося цемента.

Не буду описывать тяжелого зрелища, представившегося сразу же при выходе в город моим глазам. Мы наняли повозку с лошастью и приехали к бывшей квартире Миши, которая находилась в доме № 25 по Мало-гончаровской улице. В ней жила семья Галиного брата. Мы переночевали там, на утро 12 февраля привели себя в порядок и собрались идти к моим родителям. Вещи оставили здесь.

Трамваи по городу еще не ходили, и мы пешком прошли

через город на Рыбасовскую улицу. Здесь мы решили, что я сразу с Мишей захожу домой не буду, чтобы мой неожиданный приезд не вызвал чрезмерного волнения, которое могло нежелательно отразиться на здоровье родителей. Мы подошли к Заиковской остановке, и здесь Миша направился к нам домой, а мне дал свои часы с тем, чтобы я ровно через полчаса был дома. За это время он подготовит родителей к встрече со мной.

Я прошел до Грековской улицы, свернул по ней в направлении Валериановской улицы, где был наш дом. Хотел было зайти к сестре Толи Васильева, но время истекло, да и заходить туда не было особого желания. Ведь Толя, мой лучший друг, уже не существовал, а его сестра на мои письма после освобождения Харькова так ни разу и не ответила.

Я пошел по Валериановской, посматривая по сторонам. Вид улицы почти не изменился за эти два нелегких года. Только дом моей одноклассницы Тани Пыхтиной был снесен бомбой, и от него не осталось и следа. Вместо него стоял дощатый забор.

Подходя к своему дому, я увидел Мишу. Он уже ждал меня у калитки и нетерпеливо махал рукой. Я ускорил шаги, он поторопил меня и с затаенным дыханием я переступил порог дома и вошел в комнату.

Отец и мать сидели посреди комнаты на стульях. Увидев нас, они бросились ко мне...

Много было разговоров в первые дни нашего пребывания в Харькове. Перебрали всех родных, близких и знакомых. Я узнал, что мой одноклассник Леня Луганский прислал мне письмо, мама ему ответила, а письмо его переслала мне, я его не успел получить до своего отпуска. Очевидно, оно будет в полку, когда я возвращусь туда. Об остальных школьных друзьях я ничего нового не узнал. За время моего пребывания дома приезжал товарищ от Володи, но я его не видел, так как тогда, когда он заходил, меня дома не было. Брат передал через него старые письма и кое-какие документы, а также многочисленные фотографии. В отпуск брат приехать не смог и, наверное, приедет не скоро.

Родители живут бедновато, но со здоровьем все в относительном порядке, только мама стала совсем плохо видеть.

Ждем жену Миши, Галину Михайловну, после чего вернемся в часть где-то в двадцатых числах февраля.

Этот блокнот и предыдущие дневники я оставляю дома на хранение, а сам заведу новый.

8. 1-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

Приступая ко второй части описания своих военных будней, хочу вспомнить о том, что теперь я лишен возможности подробно, день за днем описывать свою жизнь. Дневника, как такового, я уже не вел. Правда, первые несколько дней я по инерции делал такие записи, но по прибытию в дивизию я дополнительно к предупреждению Миши Мурзина, которое он сделал мне во время совместной поездки в Харьков, узнал, что командира взвода конной разведки, сурового на вид капитана (фамилия его стерлась в моей памяти) сняли с должности и арестовали именно за ведение дневника. Поэтому я и прекратил подробные записи. Кое-что из записанного ранее я потом внес в «Блок-книжку», сохранившуюся у меня до сих пор.

Я задумал в будущем написать об этих незабываемых днях книгу, составил ее план, состоящий из двух частей. Каждая часть должна была содержать четыре главы. Я даже начал делать заметки к этим главам, причем для первых трех глав первой части заметки были более-менее подробными, но дальше встречаются выражения и фразы настолько скудные, что их смысл теперь остается для меня загадкой. В качестве примера я приведу далее образец таких записей к третьей главе. Что же касается последующих, то тут я могу записать лишь имеющийся план, а развивать его смогу лишь на основании своей памяти.

К большому моему сожалению в блок-книжке почти не приводятся даты. Мне пришлось поднять некоторые документы истории Великой Отечественной войны, чтобы установить хотя бы примерные временные интервалы описываемых мною событий. Помогли топографические военные карты, которые сохранились у меня с последних месяцев и дней войны. Остались фотографии с датами, которые и помогли мне кое-что вспомнить и идентифицировать во времени.

Приступаю к более-менее подробному изложению второй части моих военных походов.

26 февраля 1944 г.

Сегодня мы с Мишей покидаем родной город. Снова потянутся дни боев и лишений. Только эти 15 дней светлым пятном останутся среди тяжелой солдатской жизни.

22 февраля Миша, наконец, дождался жену Галю. 23 февраля отпраздновали день Красной Армии, посидели допоздна.

Все свои старые дневники я упаковал до окончательного

возвращения домой.

Дни отпуска прошли быстро, и вот снова я покидаю свой дом. Опять водоворот войны втягивает меня в свою пучину. Судьба пока что мне благоприятствовала. Надеюсь на дальнейшую ее благосклонность. Может быть, даст Бог, мы все уцелеем в этой дикой бойне и встретимся снова, мои дорогие! А ты, Толя, прощай навеки! Я буду помнить тебя всегда, дорогой друг!

Прощай, любимый город!..

28 февраля 1944 г.

Вечером 26 февраля мы с Мишей пришли на вокзал. Нас сопровождал мой отец. В 10 часов вечера мы простились с ним, и он пошел домой. Нам с Мишей пришлось ожидать поезда до 3 часов утра, когда мы, наконец, сели в вагон и уснули.

Вчера весь день ехали. Прошедшей ночью проехали Курск. Сейчас стоим в 30 километрах от Орла на станции Змиевка. Это та станция, через которую проходили мы, 70 человек, направляясь в 422 стрелковый полк на пополнение из 146 Запасного Армейского полка. Думал ли я тогда, что доживу до сегодняшнего дня?

Вчера писал письмо домой. Нам с Мишей почему-то пришла в голову мысль, что мы уехали, а мой брат Владимир вдруг тоже приедет в отпуск и нас не застанет! Это показалось смешным, так как мы знали, что Володя вырваться в отпуск не сможет. Мне ведь тоже удалось это лишь благодаря Мише. Но так как писать больше было не о чем, я об этом и написал, отправлю письмо из Орла.

Как потом выяснилось, Володя действительно приехал домой почти сразу после нашего отъезда. Как я уже писал, он со своим монитором практически всю войну пробыл на Кавказе в порту Потти, это был глубокий тыл, откуда их по очереди отпускали домой в отпуск. Я уже упоминал, что во время нашего пребывания в Харькове приезжал от него один из его товарищей, а потом отпустили и его.

Хочется уже поскорее добраться до своего полка и получить там письма, что пришли в мое отсутствие от моих друзей.

3 марта 1944 г.

Продолжаю описывать свою дорогу. По приезде в Орел встретил своего товарища (кто это, я уже не помню, как не помню и подробностей). В Орле сразу же удалось сесть на поезд, отправлявшийся в Брянск. Было тесно и жарко. До Брянска добрались в 4 часа утра 29 февраля. Утром мы не стали ожидать пассажирского поезда до Гомеля, который

отправлялся только вечером 1-го марта. Мы узнали, что скоро проследует товарный состав до Ново-Белицы. Дождавшись его, сели на платформу с грузовиками «Студебеккер» и до ночи ехали на ней. Было очень холодно. Ночью удалось перейти в какой-то вагон, и утром 1 марта мы были уже в Ново-Белице.

Выйдя из вагона, мы прошли пешком до автотрассы, где сели на попутный грузовик, который довез нас до ново-белицкого моста через реку Сож. Здесь мы выгрузились, перешли по мосту в Гомель, поднялись вверх по какой-то улице и вышли на площадь. Здесь для кого-то соорудили виселицу, очевидно, для захваченных в Белоруссии предателей, сотрудничавших с немцами. На площади Миша увидел знакомых из УКР «СМЕРШ» фронта и остался с ними. Мы разделили остатки провизии, я надел вещмешок, распростился с Мишей и направился к Речицкому шоссе. Это было 1-го марта.

У контрольно-пропускного пункта долго ждать не пришлось, вскоре я сел в машину, направлявшуюся в Речицу, и к полудню был уже там. Дальше я решил направиться пешком к дороге на Горваль. Здесь мне попала попутная полуторка, на которой к вечеру я добрался до деревни Хутор, где и остановился на ночь в одной из землянок. Дома этой деревни все были сожжены, а население проживало в сырых землянках в ужасной тесноте и грязи.

Весь день 2-го марта ушел на безрезультатные поиски 48 Армии. Измучился до невозможности, бродя по сожженным деревням и стараясь найти ночлег. Лишь поздно вечером, добравшись до села Страковичи, где когда-то стоял наш полк, я наткнулся на ребят из 48 армии. Они мне сообщили предполагаемый адрес штаба Армии.

Наконец, в одной грязной землянке мне удалось заночевать. Здесь были еще два бойца. Рано утром я поднялся и пошел искать ОКР «СМЕРШ» Армии. В одной деревне по указанному адресу его уже не было. Я пошел в следующую – то же самое. Я уже прошел более 20 километров, ноги ныли, как вдруг встретил машину. Шофер оказался знакомым. Я сел в кабину, и мы разговорились. Оказалось, что это он подвозил меня полмесяца назад до Буды-Кошелевской, когда я первый раз ехал в штаб фронта. Он знал, где находится штаб 48 Армии. Я поехал с ним, помог ему погрузить груз, и через село Жардь мы снова вернулись в Страковичи. Там мы расстались, и я пошел в ту деревню, которую мне назвал шофер. У шлагбаума я узнал, где расположен ОКР «СМЕРШ» 48 Армии. Там, однако, ничего

не знали о местопребывании 170 дивизии. Послали узнать в дислокационный отдел, где мне сообщили, что дивизия располагается в лесу у деревни Великий Бор.

Был уже вечер и совсем стемнело. Я долго блуждал по лесу, пока не встретил капитана, оказавшегося начфином штаба дивизии. Он сказал, что дивизия выехала, остались лишь авторота да медсанбат. Я добрался до автороты, где устроился на дровах у печки и переспал.

Сегодня с утра я отправился на поиски дивизии. Из Великого Бора все уже уехали, нового маршрута никто не знал, направили за справками в медсанбат. Там меня долго гоняли из одной землянки в другую, наконец, удалось узнать приблизительный маршрут, и я снова пошел по дорогам.

В указанной мне деревне опять никого не было, я направился в следующую. Наконец, я добрался до села, вернее, до места, где оно когда-то находилось. Оно было сожжено еще в начале войны, холмиками возвышалась груда землянок. Штаба дивизии и там не было, но у одной землянки я увидел вдруг знакомую полуторку. Так я случайно наткнулся на отдел «СМЕРШ» 170 дивизии.

Я подошел к часовому и вызвал майора Ковалева. Он вышел, расспросил, как я добрался, и отправил во взвод охраны отдела. Там я сразу же лег спать.

В обед меня разбудили, я пообедал, после чего отдел снялся и направился в деревню Чирковичи. Днем мы были уже там.

Через дом от нашей избы находится капитан Тарасов. Я зашел к полковым ребятам, взял у них груду адресованных мне писем и возвратился в отдел. Там мы вырыли окоп возле дома, сделали палатку над ним и устроились отдыхать в первой комнате избы.

На этом датированные записи заканчиваются. Дальше я буду указывать лишь месяцы.

Март 1944 г.

Я приступил к службе на новом месте с новым товарищем. Первыми, с кем я познакомился, были солдаты и ефрейторы Зайцев Дмитрий Андреевич, Петров Федот Трофимович (оба лет на 19 старше меня), Еноктаев Михаил — примерно моего возраста. Поваром работал симпатичный паренек Кириндясов Василий Геннадьевич. Командирами отделений были старший сержант Алсы Иван Николаевич и сержант Германов Василий Иванович, кроме того несколько заносчивый сержант Рубцов Степан Иванович и симпатичный узбек Абдурахман Саидов. После я познакомился с солдатами Алексеевым Дмитрием

Матвеевичем и ординарцем коменданта отдела Волобуевым Гавриилом Федоровичем.

На следующий день после перехода в Черновичи командир взвода намечал патрулей. Людей на все участки не хватало, хотели снять Кириндясова с кухни, заменив его Трофимовым Николаем Васильевичем, который обслуживал верховых лошадей отдела. Но тут командир взвода лейтенант Виктор Эммануилович Скоропуп заметил меня и поинтересовался у Королева, можно ли использовать в качестве патруля новичка, ничем еще себя не проявившего. Тот одобрил это предложение лейтенанта, и я оказался в одной группе с Петровым, Волобуевым и парикмахером отдела (по совместительству) Омельченко Алексеем Алексеевичем.

Тут же я ближе познакомился с Рубцовым и Егоровым Иваном Евгеньевичем. В доме, куда мы зашли, на печи спали шофера отдела Поляков Михаил Васильевич, который возил на легковой машине М-1 начальника отдела, и Яшин Тихон Михайлович, работавший на полуторке. С ними же спал на печи старшина отдела Кожин Василий Иванович. Был там и персональный повар офицерского состава Николай Криницын.

Познакомился я также и с офицерским составом. Заместителем начальника отдела был капитан Змияк, старшим уполномоченным — капитан Няшин Иван Васильевич, следователем — старший лейтенант Шишкин Александр Иванович, комендантом отдела — старший лейтенант Жуков. Кроме того, в отделе были вольнонаемные — секретарь Палицкая Бронислава Берковна и машинистка Женья.

В эти дни боевые действия на фронтах нашего направления утихли. И немцы, и наши войска находились в обороне. Боевые подразделения отдыхали, а на отделы «СМЕРШ» были возложены задачи патрулирования в прифронтовой полосе.

В один из дней лейтенант Скоропуп, Волобуев и я отправились на рекогносцировку. Я вновь почувствовал себя мишенью, как в танке во время разведки боем менее года тому назад. Наши боевые порядки были предупреждены о нашей вылазке, а немцы о ней, разумеется, ничего не знали. Требовалось лишь не обнаружить себя, чтобы сразу же не попасть под снайперскую пулю.

Мы прикинули участок патрулирования вдоль Березины и благополучно возвратились домой. С вечера мы с Петровым отправились на патрулирование. В полночь нас

должны были сменить Волобуев с Омельченко. Было довольно жутко красться вдоль берега и следить за рекой — не переплывает ли ее кто-либо. На том берегу находились немцы.

Ночь была темная, изредка кое-где вспыхивали на короткое время осветительные ракеты. Тогда мы прижимались к земле и ждали, когда ракета погаснет.

Продвигаясь вдоль берега, мы обнаружили ветхий мост через Березину, который почему-то не был взорван. Нам пришла в голову безумная мысль перейти по мосту на правый берег реки. Мы, обманутые мертвой тишиной, совершенно не соображали, что можем тут же оказаться в руках у немцев.

Крадучись, мы перешли через мост, и сразу за ним обнаружили землянки. Света в них не было, а вокруг — никакого признака жизни. Мы пробрались в первую из них — она была пуста. Скорее всего, немцы отвели свои передовые порядки несколько назад, мы же об этом ничего не знали. Наше с Петровым счастье, что это оказалось именно так, иначе наша нелепая выходка окончилась бы для нас плачевно.

Вернувшись в часть, мы доложили об этом Королеву. Вместо одобрения он выругал нас за нашу «инициативу», но сведения о снятии немцами фронта признал ценными. Однако, он приказал нам больше не своевольничать — в случае нашего пленения мы были бы хотя и не особо ценными, но все же «языками» для немцев.

В остальные дни все было спокойно, даже перестрелки через нейтральную полосу, которой служила Березина, были очень редкими.

Через две недели патрулирование отменили.

За это время я успел познакомиться с Алексеем Тимофеевичем Коновихиным, который был ординарцем у Королева, конюхом Перетряхиным и очень колоритной личностью — Паньковским Николаем Львовичем. Последний не был в штате взвода охраны, его подобрали, как отбившегося от части, во время зимних боев за Гомель. Он был уже в возрасте — лет сорока. По его словам, он всю жизнь провел в Сибири и Средней Азии в качестве охотника. Он неплохо знал казахский, узбекский и татарский языки, даже беседовал по-узбекски с нашим Саидовым, оказался буквально «нашпигованным» анекдотами и всякими невероятными историями, был неплохим поваром и шофером.

Он рассказывал, как однажды, работая шофером, он сунул

в карман пистолет, забыв спустить курок или взять его на предохранитель. От тряски пистолет выстрелил и пробил ему щиколотку ноги, к счастью, не задев кости. Признаться в этом ранении было равносильно добровольному отправлению себя в штрафную роту. Доказать, что он ранил себя неумышленно, да еще в мягкую ткань, было невозможно. Тех, кто таким образом старался попасть в госпиталь и избежать фронта, называли «самострелами». С ними особо не церемонились — подлечивали и отправляли почти на верную смерть в штрафную роту кровью искупить свою вину. Такая участь ждала и Паньковского. Он решил поэтому не сознаваться, сам себя перевязывал и продолжал ездить. Рана начала гноиться, но к счастью, потом воспаление прошло и нога зажила. Так никто и не узнал, что с ним случилось.

После снятия патрулирования нас перебросили на юг в другое место — на станцию Жердь, где немецкие самолеты подвергли нас жестокой бомбежке.

Во время передвижения я сильно растер ноги, сел на подводу, которой управлял наш конюх Перетряхин, и доехал с ним до деревни Затон. Там я помог Перетряхину выпрячь коней — в этом деле я прошел отличную подготовку в хуторе Мокрове. Меня тут же, да и учитывая, что я растер ноги, командир взвода назначил повозчиком, так как опытных ездовых, кроме Перетряхина и отчасти Коли Трофимова, который больше был кавалеристом и обычно сопровождал Королева в его выездах верхом, не было. Во время этих переездов я и познакомился с Виктором Павловичем Климовым, с которым меня надолго, до самой его кончины в 1986 году, связывала крепкая дружба.

Виктор Павлович был намного старше меня — 1910 года рождения. Оказалось, что до войны он жил в Харькове на Белгородском спуске, его двор примыкал вплотную к территории Харьковского политехнического института. Затем он переехал в Белоруссию и жил в городе Буда-Кошелевская, где у него были жена и двое детей. С началом войны он был призван в армию. В конце концов он оказался во взводе охраны ОКР «СМЕРШ» 170 стрелковой дивизии.

Когда 48 армия освобождала Буда-Кошелевскую, Климов заскочил домой навестить жену Марию и детей. Тут он узнал, что во время оккупации его жена сожительствовала с другими. Он порвал с ней. После войны он забрал у Марии сыновей и уехал на Украину, а затем — в Грузию, где женился на овдовевшей русской женщине, у которой была дочь. Так он и жил в Грузии в городе Рустави до самой смерти.

Климов был талантливейшим умельцем во многих делах. Он был первоклассным шофером и автомехаником, часовых дел мастером, был отличным жестянщиком, слесарем, токарем, плотником, столяром. Но самое главное — он был непревзойденным обувщиком (рука не поднимается написать «сапожником!»). Из его рук выходили модельные сапоги, туфли, мужские и женские, с которыми не могла тягаться даже продукция обувных фабрик. Он обувал все начальство, их «жен» и подруг, и многих своих товарищей.

На стоянках он вечно что-то мастерил, делал ведра, котелки, кружки, железные печурки для землянок, ремонтировал автомашины, чинил наручные часы, штамповал собственноручно изготовленным штампом звездочки для пилоток и фуражек, вязал веники, чинил и шил новую обувь.

На протяжении всего марта мы все время перемещались. Со станции Жердь перешли в деревню Шижов, потом свернули на север к Довску и сравнительно надолго остановились в селе Поляниновичи. У меня сохранилась запись, что мы были в этом селе 22 марта 1944 года.

В последнюю неделю марта мы снова перемещались вдоль линии фронта. Чем это было вызвано, мы не знали, но, покружив около, мы опять подошли к Довску, потом снова свернули на юг и к началу апреля оказались в селе Липы, всего в 30 километрах от Гомеля.

Апрель 1944 г.

В течение апреля мы продолжали перемещаться вдоль Березины, а также между Жлобином и Гомелем. За это время я хорошо сдружился с Яшиным, водителем полуторки отдела. Я все свободное время вертелся около него, помогал чинить машину, учился ее водить. Разница между управлением танком и автомобилем, конечно, была.

Время от времени нас направляли на прочесывание местности с целью обнаружения засылаемых немцами разведчиков и перебежчиков. В блокноте отмечены населенные пункты Губичи, деревня Березина, село Дедов Курган. Похоже, что именно в этом селе мы отмечали праздник 1 Мая.

Май 1944 г.

В мае усилилось внимание к патрулированию. Нам объявили, что в расположение 1-го Белорусского фронта заброшена шпионская группа, снабженная документами и обмундированием советских офицеров, поэтому во время патрулирования следует особо тщательно проверять военнослужащих, встречающихся как в одиночку, так и

небольшими группами. К нашему взводу охраны прикомандировали несколько человек разведчиков и распределили по районам отдельными группами. В каждой группе было три разведчика и один наш боец в качестве старшего. Так, ко мне прикрепили трех ребят — Березовского, Иванова и Петрова. В качестве района патрулирования выделили село Еженец и его окрестности. Как и всюду, из сел, находящихся в прифронтовой полосе, все жители были эвакуированы чуть подальше в тыл. Село было большое, уцелевшее во время войны, но все избы были пустыми.

В лесу у села мы обнаружили много бочек, установленных под стволами берез для сбора березового сока. Из него местные жители делали квас. За этими бочками никто не следил после отселения жителей из Еженца, они переполнились березовым соком, поверх которого образовались шапки розовой пены. Вокруг этих бочек роями летали пчелы. Сок уже начал бродить. Вначале мы набирали его в котелки и пили, потом он перестал нам нравиться.

Всю ночь мы по два человека бродили вокруг села по дорогам, а днем отсыпались в избах.

Пока мы находились в Еженце, наш отдел переехал в деревню Никольское, но туда добираться нам было далеко, жили мы в основном в соседнем хуторе. Двое из нас остановились у крестьянки Алины Абрамичевой, а двое — у Веры Ивановой. Крестьянки нас кормили, мы отсыпались у них днем, а ночью бродили вокруг Еженца. В селе, кстати, мы обнаружили струнные музыкальные инструменты — гитару, балалайку, домру. Мы с ребятами организовали небольшой струнный оркестр и в свободное время развлекали себя и хозяев.

Однажды к нам наведался майор Королев, убедился, что мы исправно несем службу, расспросил, не замечали ли мы чего-либо необычного, и уехал. В конце мая разведчика Петрова заменили другим по имени Иван Курицын.

В лесу мы часто натыкались на установленные вблизи болот самодельные самогонные аппараты. Заметив в лесу дымок, мы шли туда, чтобы выяснить, кто там находится. Услышав наши шаги, местные жители убегали, бросив самогонную установку вместе с полученным продуктом. Принимать к ним меры (самогоноварение в стране было строжайше запрещено) нас никто не уполномочивал, мы не трогали жителей, виновных в этом незаконном деянии, иногда лишь прихватывали с собой фляжку готового самогона. Ребята пили, но я привыкнуть к нему не мог.

Самогон местные гнали из картофеля, и он отличался крайне противным вкусом.

В Еженце мы пробыли больше месяца. 11 июня наш пост сняли. В этот день к нам снова вернулся разведчик Петров, но с известием, что разведчиков отзывают в часть. Отозвали и меня — за мной пришел Коля Зайцев, и мы с ним через деревню Губичский Кордон направились в село Никольское. Отсюда весь отдел вскоре передислоцировался в Рогачев, к месту, где в Днепр впадает река Друть, вдоль которой располагалась линия фронта.

Июнь 1944 г.

В блокноте за июнь месяц записаны скудные слова: «Переезд в Рогачев. Деревня №. приезд представителя фронта. Вылазка на передовую со Скоропупом. На посту».

Что кроется за этими словами, я уже не помню. Теперь уже я догадываюсь, что приезд представителя штаба фронта, скорее всего, был связан с крупномасштабной операцией по поимке матерого немецкого шпиона, о чем речь пойдет ниже. Помню хорошо, что мы все ждали наступления на Бобруйск. В конце месяца наша дивизия расположилась вдоль реки Друть где-то в районе Рогачева. Под огнем немцев саперы навели временную переправу, и дивизия бросилась штурмовать правый берег реки.

После форсирования Друтя связь со стрелковыми полками нарушилась, Королеву же потребовалась немедленная связь с ними до того, как ее наведут связисты. В блокноте есть запись о том, что мы много времени потратили на поиски расположения 391 стрелкового полка. Разыскивать его мы отправились вместе с Саидовым и капитаном Няшиным.

В то время, как наша дивизия форсировала Друть, 137 и 399 стрелковые дивизии нашего корпуса стремительно двинулись к Бобруйску. Наша же дивизия, сделав свое дело, вышла во второй эшелон.

Бобруйск 48 армия взяла 29 июня 1944 года. Мне хорошо запомнилась дорога к Бобруйску, по которой мы двинулись следом за 137 и 399 дивизиями. Стояла невероятная жара. Вся дорога была сплошь усеяна брошенной боевой техникой, машинами и подводами отступающих немцев, кругом валялись их трупы, даже прямо на дороге, по ним ездили машины и танки, расплющив их в огромные плоские лепешки. Но у нас уже давно были притушены чувства, и такого потрясения, какое было в мои первые дни пребывания на фронте, я уже не испытывал.

Нам говорили, что перед наступлением на Бобруйск, наша

авиация и артиллерия полностью разрушила все мосты и переправы через Березину (город расположен на западном ее берегу), поэтому немцы бросили все, что нельзя было переправить вплавь, и переправились через реку даже без оружия. Многие остались на восточном берегу и были захвачены в плен.

Мы остановились перед Березиной в деревне Савичи. Вид брошенных машин подал Королеву идею обновить наш «автопарк». Наша «эмка» и полуторка были уже изрядно потрепанными. Бросить их было нельзя — они числились за отделом, как боевая техника, но их больше чинили, чем на них ездили. Поэтому Королев поручил капитанам Няшину и Каткову (последний к этому времени уже перешел в отдел из 422 стрелкового полка) вместе с шофером Поляковым присмотреть среди брошенных машин что-либо подходящее для отдела. Прихватили и меня с Криницыным. Я немного разбирался в вождении машин, как бывший танкист и как помощник Яшина. Криницын тоже умел водить машину. Он уже не работал поваром на офицерской кухне, его сменил некий Петр Васильевич Щербаков, который трудился на этом поприще до конца войны. Мы сели на раздобытую в свое время машину-амфибию, которую вел Миша Поляков, и вся наша бригада направилась в лес, где находилась масса брошенной немцами техники и подвод. Там я подобрал себе кожаную полевую сумку, которая сохранилась у меня до сих пор, и хорошую фляжку для воды.

В подводах мы обнаружили среди прочего скарба много бутылок шнапса и вина, которые мы и не замедлили испытать. Пили, наливая из моей новой фляжки, куда я тут же доливал вино из вновь откупориваемых бутылок. В конце концов во фляжке оказалась смесь из десятка различных вин и крепких напитков.

Мы нашли все-таки шестицилиндровый грузовой «Форд», крытый брезентовым чехлом, и легковую «Ганзу», которые были в приличном состоянии. Мыслилось, что Поляков, Криницын и я поведут эти машины (включая амфибию, на которой мы приехали) в Савичи. Но тут капитан Няшин увидел верховую лошадь с роскошным кожаным седлом, решил взять ее для себя и поручил мне привести ее в часть, а за руль сел сам.

Так мы и сделали. Разумеется, я прибыл в расположение отдела после них. Лошадь потом оказалась раненой осколком в заднюю ногу, сильно хромала, и капитан Няшин от нее отказался.

Вернувшись, я угостил Климова напитком из своей фляги, он ему понравился и оказался довольно крепким.

На другой день мы переправлялись через Березину в Бобруйск по наведенной саперами переправе. Там мы и остановились на три-четыре дня.

Когда мы подошли к переправе, я вдруг услышал возгласы: «Рокоссовский! Рокоссовский!..» Я оглянулся назад и увидел двух всадников. На первой лошади сидел в форме маршала наш командующий фронтом (ему только что присвоили это звание), чуть позади, но почти рядом с ним — еще один генерал. Позади, метрах в четырех-пяти от них скакала еще группа всадников, человек восемь-десять. Так я впервые, первый и последний раз, относительно близко увидел легендарного командующего несколькими фронтами маршала Константина Константиновича Рокоссовского.

В Бобруйске наш отдел пополнился двумя местными жителями, которые были призваны в действующую армию в числе многих других освобожденных жителей. Их прихватили в отдел скорее всего по той причине, что они были первоклассными портными. Фамилию одного из них, надменного мужчины, я не запомнил — то ли Кривошеев, то ли Кривонос. Здесь я его называю просто «портной». Другой был очень симпатичный мужчина, звали его Федор Кузьмич Курмаз, большой весельчак, виртуозно игравший на гармонике. Он подружился со мной и с Климовым. Оба они находились с нами до самого конца войны. После войны я некоторое время переписывался с Федей Курмазом, но потом переписка оборвалась.

Июль-август 1944 г.

Сейчас мне трудно восстановить подробности этих двух месяцев. Запись в блокноте выглядит так: «На «лодке» из Бобруйска. Призрачный поход. Поиски части. Догоняем с Саидовым. В лесу. Слоним. Утро. Разборка мотора с Яшиным. Дальше на запад. Командировка в Волковыск».

Многое тут мне уже не помнится. На «лодке» — это значит, что мы ехали на амфибии. Что такое «призрачный поход» и почему я так его назвал, уже не помню. Неудивительно, что приходилось совершать «поиски части», так как передвигались стремительно и в пути часто отбивались от своих. В блокноте записано, что Слоним, где мы разбирали с Яшиным вечно барахлящий мотор его полуторки, был освобожден 10 июля, а Волковыск — 14 июля. После ухода из Бобруйска 3 или 4 июля мы за десять дней прошли около 350 километров до Волковыска. Для пехоты это было весьма

стремительным продвижением.

Но самое главное я хорошо запомнил. С этим непосредственно связаны слова в блокноте «Командировка в Волковыск», подчеркнутые красным карандашом.

В эти дни отдел «СМЕРШ» был озабочен директивами, поступавшими сверху. Речь шла о розыске какой-то крупной шпионской группы, которая предположительно действовала в нашем районе. Об этом уже шла речь, когда мы в течение мая-июня патрулировали вокруг деревни Еженец. Но на этот раз дело представлялось намного серьезней. Ежедневно всему личному составу всех частей делали пометки в документах и удостоверениях личности, включая красноармейские книжки солдат. Нас предупредили, что при проверке документов следует задерживать всех, у кого нужной пометки не будет.

В сохранившейся у меня красноармейской книжке можно увидеть следующие пометки:

- оттиск звездочки черной пастой в левом верхнем углу страницы 2;
- вписанные чернилами большие буквы «РУ» в левом верхнем углу страницы 4;
- большие буквы «МС» в левом нижнем углу страницы 6;
- большие буквы «НО» в правом верхнем углу страницы 12.

Сообщались и приметы главаря группы, особо опасного преступника, совершившего несколько террористических актов на нашей территории. Предупреждали, чтобы мы не пытались задерживать подходившего под описание шпиона, так как он был очень опасен. В случае подозрения нужно было срочно сообщить командованию, где и при каких обстоятельствах произошла встреча.

У всех нас имелись удостоверения на право проверки документов у всех лиц. Эти удостоверения выдавались на определенный срок. Одно из них, уже послевоенное, у меня сохранилось.

Только спустя много лет, в 1973 или 1974 году, сначала в одном из литературных журналов, а потом издательством «Молодая гвардия» был опубликован роман бывшего фронтового разведчика Владимира Осиповича Богомолова «В августе сорок четвертого...» (потом его назвали «Момент истины»), в котором с цитированием многих документов Управления контрразведки «СМЕРШ» описывались эти события. Из этой книги я узнал, с каким страшным человеком мы могли столкнуться. Не буду повторять здесь подробности, изложенные в книге Богомолова. Скажу лишь, что место действия группы по захвату Мищенко (одна из

фамилий этого шпиона) находилось в Шиловичском лесу между городами Столбцы и Лида — это всего лишь в 40–50 километрах севернее района, где находилась в это время наша дивизия.

В командировку в Волковыск мы ездили с Яшиным, Шишкиным и еще двумя бойцами. Когда мы вернулись к месту расположения дивизии, ее уже там не было, и мы догнали отдел лишь неподалеку от реки Нарев.

К реке Нарев мы вышли в районе города Рудня у деревни с названием тоже Нарев. Это уже была территория Польши. Мы очень быстро, практически без боев, продвигались сначала к югу через населенные пункты Кривец, Лосинка. Запись сохранила упоминание о том, что в селе Кривец мы участвовали вместе с Шишкиным в оперативной группе, но подробности из памяти сгладились. Затем мы прошли через местечко Орля и повернули прямо к западу.

Далее следует запись: «Поиски с партизаном. Ночной пост. Опергруппа. Переезд в Спички. Переезд в Бельск. Озеро. Поиски корпуса. Командировка с Алексеевым. Возвращение. По дороге к Брянску».

Что скрывается за этими отрывочными записями, я уже не помню. Память сохранила лишь досадный случай, который произошел со мной во время командировки в город Брянск (одноименный с нашим областным центром). Мы должны были ехать на полуторке. Яшин подозвал меня, кивнул на канистру и сказал:

– Посмотри, и, если надо, долей.

Я открыл канистру, и на меня пахнуло запахом бензина. Я установил ее на бак, открыл пробку и вылил все, что было в канистре, в бензобак. Когда я вернул пустую канистру Яшину, он удивленно спросил:

– Что, вся вошла? Я же недавно радиатор заливал!..

Оказалось, что канистра, которая ранее была с бензином, теперь содержала воду, которую нужно было долить в радиатор. Меня сбил с толку запах бензина.

Когда я сказал, что вылил воду в бензобак, Яшин чертыхнулся, и мы принялись продувать карбюратор и отсасывать воду из бака. Капитану Яшин ничего не сказал, объяснив задержку поездки неисправностью двигателя. Через полчаса мы привели машину в порядок и выехали в Брянск.

После местечка Цеханув мы подошли к реке Буг у деревушки Нур. На южном берегу Буга, километрах в десяти от нашего маршрута находился городок Треблинка, где у немцев был «лагерь смерти». Скорее всего, руководители

отдела знали об этом лагере, мы же ничего подобного еще не слышали. Конечно, Королев не преминул там побывать. Взяв с собой несколько человек, в том числе и меня, он отправился в Треблинку. Лагерь уже находился под нашей охраной. Нас, конечно, пропустили...

Штабеля истощенных трупов, сложенных как поленья дров, во дворе вблизи крематория, нас настолько поразили, что не помогло даже выработанное войной безразличие к смерти.

Следующий крупный населенный пункт, встретившийся нам по пути, был городок Остров-Мазовецкий. Мы остановились в нем на пару дней, затем отправились дальше через села Сельц, Грады, Брудки в населенный пункт Длуго-Сёдро.

Это село мне хорошо запомнилось. Оно, оправдывая свое название, действительно было сильно вытянуто вдоль главной улицы на несколько километров. У одного края возвышался красивый костел. Я даже зарисовал его (мы простояли в этом селе пару суток), но рисунок не сохранился. Кстати, своей архитектурой костел сильно напоминал Собор Парижской Богоматери, который я видел на рисунках еще до войны, только обе боковые башни были с островерхими крышами. Между башнями была такая же розетка огромных размеров.

В этом селе произошел забавный случай. Ночью мы с Трофимовым патрулировали вдоль улицы, изредка оглядываясь на костел, который был у нас за спиной. Ночь была темной, небо облачным, звезд не было видно. Оглянувшись в очередной раз, мы увидели между колоннами башни костела огонек. Он не двигался. Мы повернулись и прошли несколько шагов дальше, обернулись — огонек исчез. Мы прошли еще несколько шагов, огонек появился снова, но чуть сместился в сторону. Похоже было на то, что кто-то подавал кому-то какие-то сигналы.

Мы с Трофимовым остановились, простояли довольно долго — огонек не двигался. Мы снова пошли вперед, а когда обернулись, огонек снова исчез и более не появлялся, пока мы не дошли до конца села. Когда мы пошли в обратном направлении, то уже решили не спускать с костела глаз. Пройдя треть расстояния, мы увидели, как в проеме башни снова появился огонек. По мере того, как мы шли вперед, он сдвигался вправо, затем скрылся за колонной башни и снова появился с другой стороны. Сдвинувшись до конца проема, огонек снова исчез. И когда мы уже достаточно близко подошли к костелу, он снова появился, но уже вне башни —

он светил прямо с неба! Оказалось, что это звездочка, которая по случайности не была скрыта тучами. Мы посмеялись над собой и продолжали патрулирование.

Сентябрь–октябрь 1944 г.

В сентябре возобновились боевые действия. Немцы закрепились на реке Нарев, которая вторично появилась перед нами. Теперь она была значительно шире и полноводней, чем в том месте, где мы переходили ее при вступлении на территорию Польши.

Войска 1-го Белорусского фронта форсировали реку Нарев 5 сентября 1944 года. Мы подошли на уже готовый плацдарм возле села Дроздово.

Штаб дивизии расположился непосредственно в селе Дроздово в 4–5 километрах от линии фронта. Наш отдел – в километре от села, прямо на западном берегу реки Нарев, в землянках. Стрелковые полки, которые на этот раз находились во втором эшелоне и оборону не держали, стояли в лесу на восточном берегу реки.

Чуть севернее нашего расположения была наведена переправа через Нарев. Связисты уже успели навести связь, протянув полевые кабели прямо через реку с восточного берега на западный к штабу дивизии.

Поздно вечером того дня, когда мы приготовили землянки и расположились в них, меня вызвал начальник отдела и приказал срочно выехать в штаб 391 полка и привезти оттуда пакет с какими-то документами.

Я быстро оседлал нашу верховую лошадку по имени Резвый, перекинул за спину автомат, вскочил в седло и выехал на дорогу. Нужно было бы заехать в Дроздово и узнать в 1-м отделе штаба дивизии пароль, так как переправа, несомненно, охранялась часовыми. Вдруг мне пришла в голову мысль, что я сэкономлю немало времени, если поеду к переправе прямо по берегу реки. О пароле я тут же забыл.

Выехав на крутой берег Нарева, я стегнул Резвого и помчался вперед. Уже сильно стемнело, небо было облачным, полная луна слегка просматривалась сквозь тучи за моей спиной. Вдруг я почувствовал, что поперек моей груди туго натянулся провод телефонной связи.

Дело в том, что связисты прокладывали провода, как правило, прямо по земле, приподнимая их на шестах лишь при пересечении дороги (иногда, пересекая дорогу, провод закапывали в землю). Но в таком случае трудно сразу увидеть повреждение, если провод будет перебит осколком снаряда. Поэтому провода старались подвешивать на ветвях деревьев или на невысоких шестах, тогда сразу можно было увидеть,

где произошел обрыв линии. Это был как раз такой случай. Я скакал по берегу без дороги, а в таких местах никто не поднимал провод на большую высоту.

Пока у меня промелькнула мысль об этом, провод, натянувшись, не выдержал и лопнул, я даже не успел натянуть поводья, чтобы остановить лошадь. Поняв, однако, что через этот пригорок может проходить несколько линий связи, я поехал почти шагом, присматриваясь против неба, не появятся ли еще такие же провода. Они, действительно, были, я насчитал их восемь, проезжая под ними, перебрасывая через себя руками. Наконец я выехал на дорогу, которая шла от Дроздово теперь уже по берегу Нарева. Здесь я уже не опасался проводов и галопом помчался к переправе.

Только подъезжая к ней, я вспомнил, что так и не узнал пароля. Возвращаться назад было бы потерей времени, а ехать вперед было бесполезно, так как меня караульные наверняка бы задержали, и прошло бы неизвестно сколько времени, пока они установили бы мою личность, вызвав начальника караула.

Я решил рискнуть, нисколько не подумав, чем это могло для меня кончиться. Я подъехал к переправе на полном галопе и вихрем промчался по ее настилу. Я услышал за собой возглас: «Стой, кто идет?!», затем звук выстрела. Но я уже был на другом берегу, свернул по берегу к югу и поскакал вдоль берега, пока не заметил огоньки, пробивавшиеся сквозь завешенные плащпалатками входы в землянку. Остановившись у первой из них, я расспросил, где находится штаб 391 полка, разыскал его и получил пакет. Тут же я разузнал пароль и отзыв на него, и направился в обратный путь.

Теперь я подъезжал к переправе мелкой рысцой, назвал пароль караульным и остановился возле них. Это оказались знакомые автоматчики из 422 стрелкового полка, с которыми я провел полгода войны в прошлом году. Они спросили, не я ли проскакал четверть часа тому назад через переправу, и признались, что стреляли не в меня, а в воздух, для остратки. Я объяснил, почему я так сделал.

Выехав на правый берег реки, я помчался по дороге, помня, однако, что когда она свернет вправо от берега к Дроздово, мне встретятся линии связи. Теперь луна была передо мною, и я, пригнувшись к шее коня, пропустил над собой восемь проводов. Но я совершенно забыл о девятом — том, который я оборвал первым. Может быть, подспудно сработала мысль, что провод ведь оборван! Я стегнул Резвого

и быстрой рысью направился с пригорка в ложину, где уже поблескивали огоньки наших землянок.

И вдруг снова моя грудь уперлась в провод. Оказалось, что связисты уже успели восстановить кабель. Я натянул поводья, но мгновенно остановить коня мне не удалось. Пока он переходил на шаг, меня опрокинуло на круп лошади, и я свалился с седла на землю. Левая нога застряла в стремени, и я повис на нем через седло, волочась спиной по земле. Ремень автомата лопнул, шапка скатилась с головы. Хорошо еще, что я не выпустил из рук поводьев и удержал напуганного Резвого. А если бы я их выпустил, конь потащил бы меня головой по земле.

Я долго тряс ногу, пока она не освободилась от стремени, затем, не выпуская повода, пошарил рукой по земле, пока не нашел автомат и шапку, снова влез в седло и подъехал к расположению отдела. Когда я зашел к Королеву с пакетом, он спросил, почему у меня черная шея. Это была смола полевого кабеля, который не только испачкал мне шею, но и содрал с нее кожу. Это место несколько дней сильно болело, отмыть смолу из-за этого было невозможно, и я ходил с этой отметиной, пока ссадина не зажила.

У меня был и другой случай, который едва не закончился плачевно. Это было раньше, еще летом. Начальник поручил мне объехать все четыре полка (включая артиллерийский) и собрать пакеты с донесениями. В это время как раз проводили общевойсковую операцию по обнаружению шпиона Мищенко, о чем я упоминал ранее.

Завершив объезд, я уже ехал домой прямо через поле и о чем-то задумался, отпустил поводья, и Резвый очень медленной рысцой трусил прямо по полю. Вдруг я почувствовал, что моя левая рука, лежащая с поводьями прямо на шее лошади, за что-то зацепилась. Это была колючая проволока, подвешенная на шестах. Остановить коня времени уже не было, я бросил поводья, схватил обеими руками тяжелую проволоку, почти лег спиной на круп лошади и перебросил ее через себя. Я не учел, что связисты часто прибегали к замене полевого кабеля колючей проволокой, мотки которой в изобилии имелись на любом участке фронта для проволочных заграждений. Такая проволока служила не хуже полевого кабеля, зато после того, как часть переходила на новое место, не нужно было сматывать полевой кабель вручную, что занимало немало времени, колючую же проволоку просто бросали.

Проволока была очень тяжелой, и я сильно поранил ладони обеих рук. Раны потом гноились и долго заживали.

Я помню еще один случай, происшедший со мной тем же летом. Объезжая верхом полки, я не всегда знал заранее, где они расположены. Чтобы попасть в нужное подразделение, я заходил на дивизионный пункт сбора донесений, а попросту — телефонный узел, выяснял, какой провод ведет к нужному полку, и шел (или ехал верхом) вдоль этого кабеля, который и приводил меня к нужному месту. На этот раз я ехал верхом. Полевой кабель довел меня до небольшой рощицы, расположенной слева от моего пути. Справа было чистое поле, заканчивающееся километрах в двух от рощицы высоткой. Кабель свернул прямо в густую рощу, ехать верхом в которой было невозможно. Рядом располагалась какая-то часть. Я спросил, где штаб интересующего меня полка. Бойцы показали прямо через поле на противоположную окраину леса. Кабель вел в обход поля через рощу. Солдаты посоветовали оставить коня у них и пешком по роще обойти поле. На высоте, сказали они — немецкие окопы. Немцы регулярно постреливают. Во всяком случае, все поле под их прицельным огнем. Мне пришла в голову совершенно безрассудная мысль. Что, если я проскочу верхом этот участок поля длиной не более полукилометра. Я решил в случае стрельбы спрятаться за туловище коня, как тому меня научили на Дону в хуторе Мокрове. О том, что я подставляю Резвого, да и себя, под пули без всякой необходимости, я не подумал. Стегнув Резвого, я помчался вперед.

Я проскакал уже более половины пути, как действительно услышал выстрелы. Я тут же повис на правой ноге через седло и спрятался целиком за телом Резвого, и только тут понял, чем все это может кончиться. Я и сейчас считаю чудом, как нас не подстрелили. Ни жив, ни мертв, я свалился с лошади уже между укрывших меня деревьев. Я даже толком не знаю, по мне ли стреляли немцы, а может это наши стреляли в сторону немцев, так как кроме звуков выстрела я ничего другого не ощущал. Разумеется, назад я уже пошел пешком через рощу, ведя лошадь на поводу.

На берегу Нарева вблизи Дроздово мы простояли до ноября месяца. Боевые действия затихли. И наши войска, и немцы залегли в глубокой обороне.

9. 2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

Ноябрь–декабрь 1944 г.

С 12 ноября нашу и еще несколько армий перевели во 2-й Белорусский фронт, командование которым принял маршал Рокоссовский. Лишь потом я узнал, что Жуков

испросил у Сталина право командовать фронтом, который двигался прямо на Берлин, а это был наш 1-й Белорусский. Поэтому Рокоссовского вместе с тремя армиями передали во 2-й Белорусский, а 1-й Белорусский возглавил Жуков.

Военные действия в это время и вовсе прекратились. Мы, правда, продвинулись несколько вперед, расширив плацдарм на западном берегу реки Нарев, прошли местечко Шелькув-Новы, свернули несколько к югу и окончательно остановились вблизи села Гнойно прямо у берега реки Нарев, непосредственно вблизи передовой.

Предвидя длительную стоянку, мы капитально оборудовали свои землянки. Я поселился в одной землянке с командиром нашего взвода лейтенантом Виктором Эммануиловичем Скоропупом. Под идейным руководством ребят-сибиряков мы соорудили капитальную баню «побелому» в специально вырытой для этого землянке, натаскав туда булыжников для «каменки». Там я и научился париться с веничком, и страсть к парной сохранилась у меня с тех пор на всю жизнь.

Однажды мы с Алексеем Омельченко решили помериться силами на выносливость. Нужно было вырыть землянку для кого-то из офицеров. Мы принялись за работу вдвоем, разделив прямоугольник земли, отведенный для землянки, на две равные половины. Каждый копал свою половину. Проигрывал тот, кто либо делал перерыв для отдыха, либо заканчивал работу позже другого. Я оказался победителем. Правда, почва была мягкая, песчаная, но вырыть яму примерно два на два метра в периметре и столько же – глубиной, то-есть выбросить лопатой восемь кубометров грунта без отдыха было не просто.

Произошло и кое-что новое. Прежде всего, к этому времени у нас сменился начальник отдела. Майора Королева (я так и не записал его имени и отчества и теперь не могу вспомнить) отозвали якобы на повышение, а вместо него прислали подполковника Илью Иосифовича Красовицкого. Со временем он довольно удачно вписался в коллектив отдела, и все его вскоре полюбили по-настоящему. Лично для меня это тоже было положительным фактом – он оказался из Харькова, и все его родственники и семья проживали там.

Еще за августовско-сентябрьские действия на территории Польши меня представили к награждению медалью «За отвагу». Хотя и не всегда, но частенько в высших инстанциях награды снижали на ступень. Может в этом и был свой смысл – ведь в каждом подразделении тот или иной скромный

подвиг расценивался, как величайший. Как бы то ни было, я был рад своей первой награде — медали «За боевые заслуги», которую мне вручили в день подписания приказа комдивом полковником Цыпленковым 23 декабря 1944 года.

В эти дни мы часто совершали патрулирование в районе нейтральной полосы, но ничего особенного не случилось. Немцы вели себя спокойно, массированных обстрелов не предпринимали, фронт как бы застыл на зиму.

Однажды мы задержали сильно подвыпившего офицера. Документы он предъявлять отказался под тем предлогом, что наши звания (я — младший сержант, а мой напарник и вовсе рядовой) далеко не дотягивают до старших офицерских званий. Наши разъяснения, что в прифронтовой полосе каждый одиночный военнослужащий должен проверяться, его не убедили, он начал на нас кричать и угрожать наказанием. Тогда я вынужден был предъявить ему свое удостоверение на право проверки документов у всех без различия. Увидев красный штамп и печать со словами «СМЕРШ», он сник и последовал за нами в Гнойно. Там его проверили, установили личность по телефонной связи и отпустили. Только теперь я поблагодарил Бога за то, что этот майор оказался не тем майором Мищенко, которого весь фронт ловил в августе. Вряд ли бы мы уцелели, встретив того матерого волка.

Снова мне бросилось в глаза, что уже вторая зима на фронте меня вовсе не пугает, как это было на Урале, когда я ее панически боялся. Правда, и климат был здесь «европейский», хотя и декабрь, но сильных морозов не было.

От нечего делать я с трудом сочинял стишки. Сейчас они ценны для меня лишь тем, что я могу по датам, указанным под ними, как-то восстановить хронологию событий.

Первое из них датировано 16 октября 1944 года и посвящено майору Виктору Павловичу Климову, дружба с которым крепла с каждым днем.

Виктору Павловичу Климову,
близкому другу в дни войны.

Вновь над землянкою бушует непогода,
Свинцовым пологом нависли облака...
Налей, мой друг! Мне стало грустно что-то,
А сердце сжала острая тоска!

Смягчим вином отравленные дни,
Ведь все равно нам не вернуть былого...

Они угасли — счастья огни,
И перед нами горя еще много.

Еще далек извилистый наш путь,
И не изведена кремнистая дорога.
Еще не скоро сядем отдохнуть
У своего родимого порога.

Мерцает лампы тусклый огонек,
В углах сплелись причудливые тени,
Налей, товарищ! Путь еще далек,
А жизнь полна тревог и огорчений!

16 ноября 1944 г. Деревня Гнойно Пултусского уезда
Варшавского воеводства. Польша.

Второе помечено датой 4 декабря 1944 года и указан тот же населенный пункт. Так долго мы стояли на этом месте. Более того, тут же в лесу у Гнойно, мы и встретили Новый 1945 год.

Январь 1945 г.

Очередное наступление 2-й Белорусский фронт предпринял во второй декаде января. Снявшись с Гнойно, дивизия смела передовые порядки немцев и устремилась на северозапад. Я успел запомнить и записать лишь деревни Держаново и Укарнево. Дальше все шло в каком-то дыму. Погода стояла не холодная, под ногами — месиво из мокрого снега и глины, непрерывный гул канонады. Немцы едва успевали убегать, практически не сопротивляясь.

В ночь с 15 на 16 января их оборона была прорвана, и уже 18 января мы вошли в город Млава. Продвигаясь дальше, мы в одном хуторке, названия которого я не запомнил, наткнулись на брошенный лагерь русских военнопленных. По всему помещению была разбросана солома, покрывавшая нары и полы, обрывки одежды и обуви. На полу валялся потрепанный том Дюма «Граф Монте-Кристо».

На одной из нар лежала русская семиструнная гитара. Еще я увидел картонную крышку какой-то коробки, на которой плохо зачищенным карандашом были выведены слова:

«Дорогие товарищи! Мы знаем, что вы близко.
Нас угоняют неизвестно, куда. Прощайте!»

Гитару ребята презентовали мне, зная, что я немного играю. Она и до сих пор у меня, как память о тех днях.

Картонку с надписью я несколько дней возил с собой на подводе, пока ее не заметил комендант отдела старший лейтенант Жуков. Он забрал ее у меня, сказав, что передаст

в политотдел дивизии.

На следующий день, 19 января мы ворвались в город Зольдау в пяти километрах от границы с Восточной Пруссией, а на следующий день, 20 января, вступили на территорию нашего врага.

После начала войны прошло долгих 3 года и 7 месяцев...

10. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ

Январь 1945 г.

Последующие записи в моем блокноте совсем скудные. Привожу их полностью:

1. Вперед. 2. Млава. 3. Пруссия. 4. Пожарище. 5. Остероде. 6. Заблудились. 7. Пройсишес Холанд. 8. Трунц. 9. Ной-Мюстерберг. 10. Окружение.

Если бы не сохранившиеся у меня топографические карты этого района с пометками нашего пути, мне было бы трудно восстановить в памяти некоторые подробности.

Стремительно двигаясь на север, наша дивизия заняла местечки, Гильгенбург, Мариенфельде, и 22 января мы вошли в относительно крупный город Остероде.

Заняли мы его ночью, он весь горел. Скорее всего, его подожгли, отступая, немцы. Все дома были оставлены жителями, которые уходили в такой спешке, что в кухнях еще стояла теплая еда, на столах — неубранная посуда, все вещи перерыты и разбросаны по полу. Помню, Красовицкий поручил мне срочно связаться с уполномоченным одного из наших полков, старшим лейтенантом, фамилию которого я не запомнил. Я чудом разыскал в этом хаосе дом, где должен был находиться старший лейтенант. Его на месте не оказалось, в комнате находился лишь его ординарец, пожилой солдат, которого мы называли просто по отчеству — Леонтьевич. Он спал, положив голову на стол. Я растолкал его, чтобы разузнать, где его начальник. Леонтьевич отсутствующим взглядом посмотрел на меня и сказал:

– Виктор, я сплю, а мысли мои о тебе... — и снова заснул.

Я оставил его в покое и пошел разыскивать уполномоченного дальше.

О Леонтьевиче я вспомнил здесь потому, что у него была удивительная судьба. За время войны он четырежды считался погибшим, и на него приходили домой извещения о смерти. Многие считали это доброй приметой: значит, он не будет убит на войне.

При форсировании реки Друть в июне 1944 года с ним вообще произошел потрясающий случай. Только что

переправившийся полк расположился на правом берегу в укреплениях, оставленных немцами. Немцы жили в брезентовых палатках, натянутых над вырытым в земле квадратным углублением — вроде землянок, но без наката, который и заменил брезент. Отступая, немцы палатки сняли, и в углублении остались лишь вкопанные в землю стол, скамьи вокруг него да лежанки у стен.

В одной из таких открытых сверху землянок расположились оперуполномоченный полка, еще два офицера и Леонтьевич. Они обедали, сидя за столом. В этот момент прямо в стол угодила немецкая 49 мм мина. Взрывом и осколками были на месте убиты все три офицера. Один лишь Леонтьевич отделался лишь мелкими царапинами да был оглушен взрывом. Как получилось, что его не задел серьезно ни один из осколков, не укладывалось в голове, но после этого случая в его неуязвимость уверовали все.

Но не прошло и недели после того, как я видел его в последний раз в горящем Остероде, как во время одного из переходов, когда мы основательно промерзли, кто-то из товарищей сказал мне:

- На привале нужно согреться, у меня есть бутылка шнапса.

- Где ты ее раздобыл? — спросил я.

- Мне недавно дал ее этот... как его? Ну, которого вчера убило, ординарец старшего лейтенанта.

- Как, — вскричал я, — Леонтьевич, что ли? Разве его убило?

- Ну да, вчера...

Сразу же при вступлении в Восточную Пруссию мы наткнулись в каком-то местечке на спиртовой завод. Естественно, ребята понабিরали, кто во что мог. Яшин тоже заполнил спиртом две канистры для воды.

Когда новость о том, что весь личный состав загрузился спиртом, дошла до Красовицкого, он приказал весь спирт вылить и пообещал сделать обыск, когда прибудем на новое место. Ребятам пришлось, скрепя сердце, приказание выполнить.

Яшин же решил перехитрить начальство. Как только прибыли на новое место, он слил бензин из бака полуторки и залил туда около тридцати литров спирта. Конечно, при проверке у него ничего не нашли, коменданту отдела Жукову и в голову не пришло искать спирт в топливном баке. После проверки Яшин перелил спирт снова в канистры и опять заправил машину бензином, благо недостатка в нем не было. На наших подводах мы везли еще из-под Бобруйска

четыре 200-литровые бочки трофейного румынского авиационного бензина.

Пить этот спирт с сильным привкусом и запахом бензина было поначалу противно. Знали об этих запасах немногие — Яшин, я да Климов. Мы называли этот напиток «автоконьяком» и, когда привыкли к его вкусу, долгое время пользовались им. Спустя месяц-два, мы угощали им и других ребят, не рассказывая, правда, откуда он у нас появился.

Следующим населенным пунктом, который врезался мне в память, было село Эккерсдорф.

Во время перехода из Остероде случилось так, что в штабе дивизии не оказалось топографических карт дальнейшей территории, их еще не успели получить в достаточном количестве. Нам, однако, объявили маршрут и назвали конечным пунктом город Морунген. По поступившим сведениям, его только что заняла 137 дивизия, входившая в состав нашей Армии.

Вечером мы, несколько человек во главе с лейтенантом Скоропупом, отправились в направлении Морунгена, для того, чтобы занять квартиры для отдела. Остальные должны были подъехать на следующий день.

Пока позволяла карта, мы двигались по ней. Но вот она кончилась, и мы пошли по памяти: в первом отделе штаба дивизии Скоропупу показали карту, и он запомнил населенные пункты Швенкендорф, Горн и несколько других, вплоть до Морунгена.

Мы благополучно добрались до Швенкендорфа и пошли дальше. Нас поразила мертвая тишина и безлюдие — как будто бы кроме нас никто более не двигался по этому маршруту. Наконец, мы уткнулись в насыпь железнодорожного полотна. Невдалеке стояло служебное железнодорожное одноэтажное здание, в окнах которого горел свет. Мы подошли и прислушались. За закрытыми дверями постоянно звенел звонок. Мы приготовили автоматы и стали стучать в двери рукоятками пистолетов. Никто не отзывался. Мы постучали еще и, не дождавшись ответа, перебрались через железнодорожное полотно, не зная, в какую сторону идти. Наугад повернули налево. Как выяснилось потом, это и была дорога на Морунген. Пройдя около часу, мы встретили двух бойцов в маскировочных халатах, похоже, что это были разведчики. Мы спросили дорогу к Морунгену. Они очень удивились, что мы идем в этом направлении:

— Через два-три километра немецкие укрепления! Нет там никакого штаба дивизии! Поворачивайте скорее назад.

Мы поблагодарили их и судьбу за то, что они спасли нас от неминуемой смерти или плена (хотя в такой ситуации немцам было не до пленения, они просто бы нас перестреляли) и повернули назад.

Прошли опять мимо железнодорожного здания, в котором по-прежнему горел свет и беспрерывно звонил звонок, и в кромешной тьме возвратились в Швенкендорф. Там мы встретили одно из подразделений нашей Армии и уточнили, что маршрут нам действительно дали ошибочный – впереди еще были немцы. Оказалось, нужно было свернуть на юго-восток, почти в противоположном направлении, и двигаться в село Эккерсдорф. Этот маршрут целиком имелся на той карте, которая у нас была.

Мы немного отдохнули и еще до рассвета направились по новому маршруту. Было раннее утро, когда мы пришли в Эккерсдорф. Как и все предыдущие, село было совершенно безлюдным.

Мы присмотрели дом, расположенный в одном дворе с небольшой кирхой, и решили занять его для отдела. К входной двери вело высокое деревянное крыльцо. Я, Алексей Коковихин и еще кто-то третий стали подниматься по ступеням. Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появился мужчина в черной одежде священника. В его руках была винтовка, которую он направил прямо на меня. Я выхватил пистолет, который обычно носил за поясом или в кармане (кобуру я не любил). Попытался выстрелить, но произошла осечка. У меня в голове молнией промелькнула мысль, что сейчас я буду убит. Прозвучал выстрел, и я увидел, что священник упал. Оказывается, его опередил шедший следом за мной Коковихин, который одновременно со мной выхватил пистолет, выстрелил в немца, чем спас мою жизнь.

Где-то около 10 или 11 часов дня прибыли машины и подводы отдела. Располагаться в доме, однако, не стали. Оказалось, что дивизия уже пошла дальше.

Мы вернулись в Швенкендорф, немного прошли на север в направлении Морунгена. Теперь, после ночных странствий почти в расположении немцев и после трагичной встречи с хозяином дома в Эккерсдорфе, это название напоминало мне латинское слово *morte* – “смерть”. В селе Химмельфорт мы снова свернули на юг, прошли населенные пункты Зонненборн, Венедин, и опять двинулись на север. Пройдя Альт-Вестендорф, Хагензу и Грюнхаген, мы остановились в довольно крупном городке Пройсишес Холанд.

48-я армия наступала стремительно. Немцы покидали

населенные пункты один за другим, и наша дивизия практически без труда продвигалась прямо на север к Данцигской бухте.

24 января нашими соседями справа был занят город Мюльхаузен. Мы шли левее через Мариенфельде (это уже второй городок с таким названием — первый был перед Остероде), Шенберг, Гросс Штобой и Трунц.

25 января мы остановились в маленькой деревушке Ной-Мюнстерберг.

Расположились в доме на пригорке. Мы уже привыкли к тому, что все встречающиеся на нашем пути населенные пункты были совершенно безлюдными. Жители покидали их, убегая вслед за немецкой армией. И сейчас занятый нами дом был брошен хозяевами. Места в нем хватало на весь отдел. В погребе мы обнаружили огромное количество стеклянных банок с самыми различными консервированными продуктами — от мясных до овощных и фруктовых. До войны я и понятия не имел, что можно что-то консервировать в домашних условиях. Заготовки помещались в стеклянных банках, накрытых стеклянными же крышками через резиновое кольцо с выступающим язычком. Стоило потянуть за язычок, резинка вытягивалась, в банку проходил воздух и крышка легко снималась.

В доме, который имел два этажа, для отопления служили кафельные печи, похожие на шкафы и расположенные в каждой комнате. Они стояли не вплотную к стене — оставался промежуток около 20 сантиметров. От печей железные трубы уходили в общий центральный дымоход. В подвале дома этот дымоход расширялся в виде полой пирамиды с дверным проемом. Внутри этой пирамиды стоял огромный котел, под которым раскладывался огонь. Над котлом, на вделанных в кирпичные стены железных перекладинах висели огромные окорока, которые все время коптились дымом, идущим от расположенного под котлом огня.

Утром следующего дня мы намерились двинуться дальше, и уже большая часть отдела отправилась в путь, как вдруг полторка Яшина, в которой возили все документы отдела, спустившись с пригорка от дома на дорогу, резко остановилась. Задние колеса как будто заклинило.

Мы впрягли четырех лошадей и втащили машину с заторможенными колесами снова во двор нашего дома. Пока мы выясняли, в чем дело, вдруг пришло сообщение, что мимо нас по автостраде, до которой было меньше километра, движется огромное количество немцев.

Оказалось, немцы, чувствуя угрозу окружения в районе Кенигсберга, предприняли отчаянную попытку прорваться к Эльбингу, который был еще в руках немецких войск. Тем самым они отрезали нас от дивизии, которая продвигалась к северу на Толькемит. Часть немцев прорывалась и южнее нас. Таким образом, мы оказались со всех сторон отрезанными от своих частей.

Красовицкий приказал нам притаиться, приготовить автоматы и укрыться в помещениях нашего двора. Мы решили дорого отдать свои жизни. Притаившись в сарае, мы взвели автоматы и проверили пистолеты. С нами был и Красовицкий с двумя-тремя офицерами. Нас, бойцов взвода, тоже было пять-шесть человек. Остальные с комендантом и командиром взвода выехали еще до того, как у нас случилась авария с машиной, они, как потом выяснилось, успели перейти автостраду как раз перед появлением на ней немцев и уже находились вместе с дивизией.

Красовицкий вооружился маузером. Мне нравилось это оружие. Это был длинноствольный пистолет, магазин которого вмещал, если мне не изменяет память, девять патронов, таких же, как и для автомата ППШ. Пистолет имел деревянную кобуру, которую при помощи пазового соединения можно было сочленить с рукояткой. В таком случае кобура служила прикладом, а из маузера можно было вести прицельный огонь, как из винтовки или автомата.

Прошло несколько часов. Мы слышали шум движущихся колонн немцев по автостраде. В этом месте она была расположена ниже окружающей местности и шла как бы по дну высохшего русла реки. В полукилометре от нашего дома начинался небольшой подъем на мост, переброшенный через автостраду. Видимо, немцам было не до того, чтобы подниматься с автострады и ходить по ближайшим хуторам и фольваркам (этим словом обозначались на картах отдельные «господские» усадьбы, лежащие в стороне от населенных пунктов). Если бы они это сделали, нас бы перестреляли в одно мгновение: нас было около десяти человек, а их шли тысячи.

К вечеру мы уже свыклись с положением захваченных в ловушку зайцев. Яшин был серьезно озабочен непонятной для него поломкой машины. И тут кто-то вспомнил, что когда накануне мы подходили к Ной-Мюнстербергу, то на посту через автостраду видели такую же полуторку, как у Яшина, но перекрашенную в немецкие защитные маскировочные цвета. Видно, это была у немцев трофейная машина, когда-то захваченная у нас. Тут же родилась идея подобраться к

этой машине, отсоединить задний мост вместе с карданом и пригнать в село, чтобы заменить им наш, вышедший из строя.

Когда стемнело, мы поехали на эту операцию в санях, запряженных парой лошадей. Нас было четверо: Яшин, Трофимов, старшина Кожин и я. Мы захватили с собой два мощных немецких домкрата почти метровой длины каждый, которые были у Яшина в машине. У начала моста через автостраду мы оставили Кожина с лошадьми, а сами ползком, таща за собой по снегу домкраты, направились на середину моста к брошенной полуторке. На всякий случай мы приготовили пистолеты, заложив их за борта телогреек. К тому времени я сменил пистолет ТТ, который подвел меня в Эккерсдорфе, на револьвер «Наган». Правда, патроны к нему были большим дефицитом, но мне удалось достать десяток, я заполнил барабан и еще имел три в запасе.

Мы подползли к машине, установили домкраты и начали приподнимать кузов. Было довольно жутко слышать шум и крики немецких солдат, идущих сплошным потоком в нескольких метрах ниже нас. Конечно, мы не были видны им снизу, но страха от этого у нас не убавлялось.

Дуя на замерзшие пальцы, мы отсоединили задний мост от рессор и кардан от коробки передач. Убирать домкраты решили потом, чтобы не вызывать лишнего шума и не тянуть время. Спустившись с моста, мы забросили кардан на задок саней и покатали задний мост к себе в расположение отдела.

Только 27 января мы, приведя машину в порядок, для чего еще раз пришлось сделать вылазку на мост за домкратами, покинули Ной-Мюнстерберг. Немцев на автостраде уже не было. Мы поблагодарили судьбу за то, что оказались незамеченными немцами, а отсутствовавших хозяев дома за то, что почти трое суток мы не испытывали затруднений с питанием благодаря сделанным ими запасам и заготовкам.

Уже после окончания войны, в июне или июле месяце, когда мы стояли в селе Дамерау, я, разглядывая как-то карту, обнаружил, что мы находимся всего в 15 километрах от Ной-Мюнстерберга.

Я подговорил Яшина съездить туда и посмотреть, что же случилось тогда с задним мостом его полуторки. Я запряг пароконную повозку, мы взяли с собой продукты на дорогу и отправились через Трунц и Майбаум к Ной-Мюнстербергу. Проехали мост через автостраду, на котором мы зимой снимали задний мост с брошенного грузовика, и разыскали «наш» дом на пригорке, в котором мы провели трое тревожных суток. С тех пор прошло полгода. Тогда была

зима, а сейчас — разгар лета. Все вокруг заметно изменилось.

Деревня по-прежнему была безлюдной. Хозяева-немцы, видимо, сюда уже не вернулись. Да и местность эта потом отошла к Польше. В том дворе, где мы были зимой, последнее время, похоже, стояла кавалерийская часть. Огромный сарай был оборудован стойлами для лошадей, кругом валялось сено и лошадиный помет. Конечно, от запасов продовольствия, которые были в погребе, не осталось и следа. В комнатах все было побито и поломано, кругом валялся мусор и всякий хлам.

Во дворе лежал задний мост полуторки, вернее, то, что от него осталось. Труба карданного вала и колеса были сняты, тормозные барабаны разобраны. Крышка дифференциала была снята. Мы заглянули внутрь и увидели причину аварии: от планетарной шестерни отломился зуб, попал в зацепление между хвостовиком и шестерней и намертво заклинил полуоси.

Удовлетворив свое любопытство, мы уехали назад в Дамерау. Не скрою, что наша поездка была овеяна некоторой романтикой. Было интересно побывать на месте нашего зимнего происшествия, и хотя прошло всего полгода, казалось, что оно произошло с нами много, много лет тому назад.

27 января мы отправились к востоку от Альт-Мюнстерберга, затем свернули круто на север к Толькемицу. Этот городок был взят именно нашей дивизией, но, увы, без нас — это произошло 26 января, когда мы были еще блокированы отступающими немецкими войсками.

Сутки мы стояли в местечке Кармау. Помню, как оттуда мне поручили сопроводить в Мюльхаузен группу задержанных немцев, примерно 200 человек. В помощь дали трех солдат из стрелкового полка. Я поехал верхом. Идти было всего 14 километров, но колонна шла очень медленно, и до места мы добрались лишь, когда стемнело. Еще полчаса ушло на то, чтобы я передал группу задержанных с сопровождающими солдатами коменданту. Солдатам сказал, чтобы после сдачи людей в комендатуру они возвратились в свою часть, а сам вскочил в седло и в кромешной тьме помчался назад.

По дорогам еще могли бродить группы вооруженных немецких солдат, пробивающихся из окружения под Кенигсбергом. Я пригнул к шее коня, и во весь дух поскакал по едва различимой дороге. Не знаю, каким образом, скорее всего благодаря инстинкту лошади, я примерно через 45 минут бешеной скачки был уже на месте.

Я зашел в дом, где мы остановились с Климовым, дрожа от возбуждения и холода — при быстрой скачке на морозе у всадника особенно сильно мерзнут ноги в бедрах, тем более что на мне была одета лишь телогрейка. Климов тут же налил мне полкружки «автоконьяка», я согрелся, мы немного поговорили, и я пошел доложить Красовицкому о выполнении задания. Увидев, что я навеселе, он сказал:

- Вот безобразия, даже Долбню, который в рот не брал спиртного, им удалось напоить.

Для меня это прозвучало, как похвала. Я порадовался, что во всех предыдущих подобных случаях держался после выпивки настолько хорошо, что не вызывал у окружающих ни малейшего подозрения.

Наутро мы переместились в довольно крупное село Нойкирх-Хёхе. Дальше до самой Данцигской бухты, где находился Талькемит, дорога была свободна от немцев. Однако восточнее находился Кенигсберг, где было еще много немецких войск. Это было относительно далеко от нас, зато западнее, километрах в 25-ти, располагался довольно крупный город Эльбинг, который немцы яростно обороняли.

Пару дней мы кружили в районе Нойкирх-Хёхе, прошли через Виркауи Фирцигхюбен, затем направились на север в Диттерсдорф, потом опять вернулись в Фирцигхюбен.

Наконец нам стало известно, что дивизию хотят перебросить через Пройсишес Холланд в обход Эльбинга с юга, чтобы отрезать его с запада и окружить находящиеся там немецкие части.

Февраль-март 1945 г.

В течение этих двух месяцев нас переводили в район западнее Эльбинга. Сначала мы прошли Мюльхаузен и Пройсишес Холланд, направляясь прямо на юг, после чего повернули на запад до Гиршфельда, оттуда на юг к Хайлигенвальде, затем снова на запад через Ваумгарт и Будиш. Обойдя таким образом Эльбинг с юга, мы повернули на север до Лихтфельде, затем направились на северо-запад к Альтфельде.

Все населенные пункты, которые мы проходили, были абсолютно безлюдными, лишь кое-где встречались старики и пожилые женщины, которые не решились оставить свой кров и уходить, неизвестно куда. Возможно, жителей уводили насильно, а может они были запуганы немецкой пропагандой и боялись нашего присутствия. Нужно отметить, что нашим солдатам было строго-настроено приказано вести себя достойно и по мере возможности,

наоборот, оказывать помощь нуждающимся жителям, хотя такой необходимости и не было. Говорили, что по этому поводу был жесткий приказ Рокоссовского, грозивший штрафной ротой за мародерство, поджоги и насилие со стороны наших войск.

Все виденные нами на этом пути села, местечки, фольварки и отдельные домики производили впечатление, что они сошли со страниц сказок Андерсена. Красивые, хорошо ухоженные домики с островерхими черепичными крышами прямо приглашали отдохнуть и забыть о войне. Уже стояла весна, было довольно тепло. Бросалось в глаза огромное количество брошенного скота. Коровы черно-белой масти заполняли каждую деревушку. Скотину никто не доил и не кормил, и она жалобно редела.

10 февраля мы узнали, что немецкие войска, удерживавшие Эльбинг, отступили. В этот же день 2-й Белорусский фронт закончил свои операции в Восточной Пруссии и двинулся прямо на запад к Берлину. Нашу же 48 армию оставили здесь до полного разгрома окруженных в районе Кенигсберга немцев. Для этого армию передали 3-му Белорусскому фронту, которым командовал генерал армии Черняховский.

Делая остановки во многих населенных пунктах, мы не спеша двигались на север. В районе местечка Люпусхорст мы перебрались через довольно широкую реку (ее почему-то называли каналом) Ногат, и в начале марта остановились на несколько дней в Мариенау.

Проходя через один из населенных пунктов, наша часть обнаружила трех русских девушек, которые в свое время были угнаны на работы в Германию и отбывали трудовую повинность в Восточной Пруссии.

К тому времени наш мастер на все руки Виктор Павлович Климов освоил искусство фотографирования, используя трофейные фотоаппараты и фотоматериалы. У меня сохранилось несколько, сделанных им, хотя и посредственных по качеству, но бесценных для памяти, фотографий. Надписи, сделанные мной на обороте этих фотографий, сохранили имена этих девушек: Козлова Александра Петровна, Курденкова Тамара Ивановна и Диклова София Анисимовна. Откуда были первые двое, я уже не помню. Как будто, Козлова из Брянщины, а о Курденковой ничего не могу вспомнить. Это были скромные, тихие девушки. Соня Диклова была как будто бы из Ленинграда и попала к немцам, находясь где-то в пригороде, который был ими занят. Это была довольно развязная

девица, не лезшая в карман за словом, хорошо говорила по-немецки и довольно свободно вела себя среди нас. Девушки пробыли с нами до конца войны, затем были отправлены домой вместе с другими освобожденными гражданскими лицами.

После Мариенау мы довольно долго, до конца марта находились в крупном городке Тигенгофе. Затем двинулись прямо на восток к Эльбингу. Немцы прекратили всякое сопротивление. Однако, отступая, они взорвали дамбы, защищавшие побережье Данцигской бухты от воды. Эта местность была ниже уровня моря, только дороги, соединяющие населенные пункты, были приподняты над местностью метра на полтора-два. Необычно было двигаться как бы посреди моря по узкой полоске дорожного полотна. Со всех сторон до горизонта — одна вода, из которой кое-где торчали хуторки и господские дворики.

Апрель-май 1945 г.

В конце марта мы, двигаясь на восток по затопленной земле и пройдя местечко Юнгфер, остановились в господской усадьбе Цейерсфордеркампен. Она состояла из двух-трех просторных домов и нескольких служебных построек. Мы полагали, что остановимся здесь на день-два, а оказалось, что прожили мы тут полтора месяца, почти, как в Гнойно на реке Нарев.

Война для нас практически закончилась. Еще шли бои на востоке от нас в районе Кенигсберга, который немцы сдали 9 апреля. На западе фронт ушел далеко вперед, и лишь к северу от нас, у основания узкой косы Фриш Неерунг держался еще, окруженный с трех сторон морем, город Штутгоф, куда были стянуты все немецкие войска, участвовавшие в боях западнее Эльбинга. Кроме них там находилось огромное количество узников, перетянутых из различных лагерей в ходе отступления.

Эта группировка врага оказалась в полной изоляции, мер к прорыву не предпринимала, ибо уже некуда было прорываться, и, видимо, ждала лишь распоряжения о капитуляции. Наши войска в свою очередь не старались их захватить, сохраняя личный состав. Зачем жертвовать жизнью солдат, когда со дня на день немцы, отрезанные от всего мира, сдадутся сами!

Мы проводили время, как хотели. Климов наладил имеющуюся в фольварке местную электроустановку, работавшую на бензине, и теперь мы были с электрическим освещением. Наладили также местный водопровод, привели в порядок имевшийся там скот, чем обеспечили себя в

изобилии молочными продуктами.

Постепенно у нас организовался неплохой оркестр. Климов и я немного играли на гитаре и мандолине, было две домры. Кроме того, Федор Курмаз виртуозно играл на гармонике. Немецкие гармошки были, правда, диатоническими. С нажатием кнопки при растягивании мехов был один звук, а при сжимании — другой. Но для Климова не составило труда превратить такую гармонику в хроматическую (звук не меняется как при сжимании, так и при растягивании мехов). Для этого он подпиливал язычки элементов, создающих звук, так как обладал незаурядным музыкальным слухом. Он поистине был удивительно разносторонним мастером. Кроме всего прочего, он усиленно занялся фотографированием. Благодаря ему, у многих из нас остались на память фотографии того периода. Многие из них я привожу здесь. Праздник 1-е Мая мы встретили тут же, в Цейерсфордеркампене. Зная, что нам придется переходить в Эльбинг, начальник отдела Красовицкий поручил нам подыскать подходящее помещение для остановки в пути. Мы нашли большой дом, удобный тем, что к нему не нужно было добираться вброд по залитым водой полям — он располагался прямо у дороги. Чтобы его не занял кто-либо до нашего прибытия, в нем оставили Ивана Егорова с двумя отбившимися от части солдатами, которые временно находились у нас.

В располагавшемся неподалеку штабе дивизии был приемник для радиосвязи, и 8 мая радисты услышали о том, что в Берлине подписан акт о капитуляции Германии. Война закончилась!

В поступившем из штаба приказе было дано указание о полном прекращении огня в 12 часов дня 9 мая.

Трудно передать нашу радость! Что творилось в нашем лагере, невозможно описать. Мы, как сумасшедшие, кричали, пели, танцевали, обнимались. Фактически, мы не спали всю ночь на 9 мая. Гул канонады, который сопровождал нас ежедневно днем и ночью все годы, проведенные на фронте, усилился. Потом мы узнали, что многие части, то ли по своей инициативе, то ли по приказу свыше, стремились расстрелять боеприпасы, чтобы не везти их назад.

Перед 12 часами дня гул канонады вырос до невероятной силы. И вдруг в 12 часов дня все резко оборвалось. Наступила мертвая тишина, от которой в первые минуты стало жутко. Такого мы давно не ощущали. Мы даже невольно стали разговаривать шепотом. Потом пришло осознание того, что так и должно быть в мирное время.

Вечером этого дня несколько человек отправились приготовить облюбованный нами дом, который охранял Егоров с солдатами. К нашему удивлению, в доме были посторонние бойцы. Мы расспросили их. Один из них сказал, что наших солдат куда-то забрали, кто и куда — он не знал. Мы пытались все же выяснить, кто их задержал. Наконец подошел еще один солдат и объяснил, что с ними произошел какой-то несчастный случай и они находятся в медсанбате неподалеку. Мы бросились туда, отправив гонца в Цейерсфордеркампен доложить Красовицкому об этом случае.

В медсанбате мы узнали жуткую историю. Оказалось, ребята хотели сделать себе лампу из стреляной гильзы, так как где-то нашли бутылку с горючим. Они не подозревали, что им попалась бутылка с самовоспламеняющейся жидкостью. Такие бутылки для поджога танка применялись в последнее время наравне с теми, которые нужно было поджигать перед броском. В этих же бутылках жидкость воспламенялась при соединении с воздухом.

Ваня Егоров был, вообще говоря, опытным бойцом. Ему выпала такая судьба, что он дважды отбивался от нашего отдела, но все же возвращался обратно. Один раз он отбился во время какого-то стремительного перехода еще в Белоруссии. Через месяц он таки разыскал отдел и вернулся к нам. Прошло еще немного времени, и он сильно заболел — простудился. Теперь он потерялся почти на год. И уже в Восточной Пруссии он, в составе саперной роты какой-то части, куда он был направлен после выздоровления, как-то случайно наткнулся на наш отдел и попросился опять к нам. Красовицкому ничего не стоило решить эту задачу, и Егоров снова стал нашим бойцом, получив вдобавок специальность сапера. И вот теперь, почти в день окончания войны, его постигла такая участь.

Один из солдат уже умер, когда мы нашли их в медсанбате. Другой, который и рассказал врачам о происшедшем, был в тяжелом состоянии и разговаривать уже не мог. Ваня Егоров не приходил в сознание с самого начала. На него страшно было смотреть, он весь был обгоревшим, вместо лица была какая-то черно-красная масса. Через день он, не приходя в сознание, скончался.

Мы перевезли его в Цейерсфордеркампен и похоронили, произведя над его гробом салют из автоматов. Так печально закончился для нас день, который должен был быть самым радостным в нашей жизни. Впрочем, он и был таким, несмотря на потерю друга.

ПОЭЗИЯ

Евгений ДУБРАВНЫЙ
**«... В святой России
Талантов больше, чем убийц!»**

РАДЕТЕЛЯМ РОССИИ

Светлой памяти брата Валентина

Я в кровь разбил невинное лицо...
Опять свое, а не лицо Дантеса.
Душа наполнилась есенинским свинцом,
На скулах — скорбь шукшинского замеса.

О сколько лиц живет в моем лице,
Сквозь толщу лет душою прорастая.
А по Руси опять гуляет стая
Безликих, где подлец на подлеце!

Зачем им лик? Зачем им русский дух?
Зачем душа, которая томится?
Они бы все хотели выйти в «вице»,
Они с Востока, но им Запад снится,
Патриотизм их оскорбляет слух.

Что им Есенин, Лермонтов, Толстой?
Что Достоевский — сброд антисемитов?..
Они скорбят, что нет уже обллитов,
А то бы враз — «В разбор!» и шито-крыто.
Читайте Эренбурга и Барто!

Но грянет час! И вековая грусть
Растоптанной, униженной державы
Сорвет замок заокеанский с уст,
И вздрогнет мир от звуков величавых,
Когда заговорит глухонемая Русь!

ШАНС

Анатолию Мирошниченко

Мой светлый друг,
 мой друг неповторимый!
Как будто вновь
 у ног моих прибор
Морской прохладой
 плещется игриво
И не спеша
 беседует со мной.

Встаёт ушедшее
 из дымки тихой грусти,
Тревожится и мается душа...
Но мы теперь, конечно, не упустим
Наш очень хрупкий
 выигрышный шанс.

Не надо нам заманчивых авансов,
Из всех наград, находок и утрат
Мы выберем единственный из шансов —
Беседой наслаждаться до утра!

МОЯ СТРАНА

Моя страна, куда тебя уводят?!

Куда влекут, свободой маня?
Ты им нужна лишь только для пародий,
Лишь для поставки жертвенных ягнят.
Они тебе в лицо смеются, дряни!
Они танцуют на твоих гробах.
Для них ты символ глупости и пьяни
И образец безгласного раба.
О как им дорог наш простор и дали!
Как греют душу и ласкают глаз...
Они давно в гробу нас всех видали
Им дали нет родней, где нефть и газ.
Им нет роднее забугорных банков,
Где пол-России в долларах лежит....
А на помойках роются подранки

Да старики и нищие бомжи.
Все глуше говор в деревнях и селах
И все наглее черные грачи...
Но звон растет тревожный, невеселый.
Россия, Русь! Чего же ты молчишь?!

РУСЬ

Опять беспомощно мечусь,
Еще свежее стали раны,
О, за каким холмом ты, Русь?
И за какими ты горами?

Прости, что я тебя ругал,
По-скифски зная за границу,
Теперь я радуюсь, что галл
На русской мчится колеснице...

Со мной заискивает прусс
И финн спешит на русский запах.
Витриной блещет мудрый Запад,
Но за каким холмом ты, Русь?!

ГОСПОДА

В господа нынче многие хотят,
Не успев в батраках походить,
Тот в писателях ходит, как кочет,
Этот в музыке спесью сорит...

Тот в искусстве поместье гнездовит.
Арендуя природы пласты,
А попробуй скажи, что без крови
Все гравюры его и холсты...

Сколько гонора, сколько обиды,
Сколько гордости — просто кино.
Но Господь почему-то не видит —
В господа мы готовы давно.

Вот в постель подают уже кофе...
Отчего ж мы в трамваях грубы?!
Господами мы выглядим в профиль,
Но анфас — мы все те же рабы.

ПРОРОКИ

Люблю в своем Отечестве пророка!

Дм. Маматов

Нас учили: Емели вы все – лежебоки!
Только спать на печи да почесывать плешины...
И какие ж в чертях в этих дебрях пророки?!
Где одни упыри, водяные да лешие.

Нас учили кнутом, а нередко и плетью,
Нас корили то песней, то русскими плясками
И пороли, пороли в конюшнях столетьями,
Ну а мы выживали, кнутами обласканы...

Может быть, и убоги российские хаты,
Зато как нас любили Белинские, Гоголи.
Усмехались: Россия несметно богата –
Мало что дураками, ещё и дорогами.

Уронил я с души эти грустные строки
И в испуге застыл перед бездною вечности.
Но уверен: вернуться, вернуться пророки
К дуракам и дорогам – в родное Отечество.

ПОВОДЫРИ ДУШИ

Стихи мои! Поводыри души,
Заблудшей в перестроенном бурьяне,
Бесстыдством и предательством изранен,
Молю я вас – не дайте согрешить!..

Не дайте оступиться и упасть

В утробный рык демроссовской оравы
И не юлить, заглядывая в пасть
Имущим власть, но не имущим сраму...

МАТЕРИНСКАЯ ДОЛЯ

Мама плакала. Я не помню.
Я родился немного поздней...
Перестуком колесным комья
Подбиралися к горлу ей.

Мама плакала горько, хлюпко
И темнел горизонт от слез...
Двое плакали, ткнувшись в юбку,
Третий — в грудь утопивши нос.

Мама плакала. Я не помню.
Ошалело кричал паровоз.
Проскрипел эшалон огромный
И на запад отца увез...

Мама плакала. Стук колесный
Комья к горлу ей подгонял:
Зимы вышли и вышли весны —
Я последний ее обнял...

Как легко мы гнездо покидали,
Оставляя притихшую мать...
Как манили нас дальние дали,
Как хотелось ей нас удержать.

Но напутствие вместо обиды,
Только губы кривила боль.
Кто из нас тогда мог увидеть,
Что ей стоила эта роль.

Вновь стою перед ней на перроне,
Глажу прядь поседевших волос...
Столько слез разошлось на горе —
Не осталось для счастья слез.

ОТЦУ

Живу один. Ни матери, ни братьев...
Ушел отец, два ада отхролав.
Он был сражен на стыке «демократий»
В свой день рожденья, в свой победный май.

Он так хотел со мною поделиться
Какой-то тайной — отказала речь...
И взгляд погас, и высохла криница
Бездонная — источник шумных встреч.

Он замолчал... Теперь уже навеки
И мягко отпустил мою ладонь...
Стих гомон птиц, остановились реки,
Луна погасла над родным прудом...

Год отошел и я опять в станице,
Наш дом и улица и те уж и не те...
На кладбище чужие вижу лица
И мучаюсь: что он сказать хотел?!

ПРО НАШЕГО БЫЧКА

Василию Кирееву

Я слышу плач осеннего смычка —
У нашей памяти одна и та же скрипка.
Она поет про нашего бычка,
Поет и весело и хлипко.

Она поет про босоногий рай,
Про нищету холодного сельмага,
Где обретали мы полусвятое благо,
Когда «подушечки» в наш завозили край.

Поет она про жмых, про колоски —
Всплывают кадры старой киноленты ...
И мама, сжав в отчаянье виски
Со страхом ждет прихода финагента.

И он придет, похожий на сверчка,
В красивом френче, строгий и прилежный
Опишет все — и первого — бычка,
Опишет нашу светлую надежду...

Тая в сердцах заветную мечту,
У матерей мы много не просили.
И, может быть, за терпеливость ту
Мы в сентябре форсили в парусине.

Я слышу плач осеннего смычка —
У нашей памяти одна и та же скрипка:
Щемящий скрип распахнутой калитки
И долгое мычание бычка.

ДУЭЛЬ

Дуэль назначена и Пушкин
Глядит невесело в окно:
Доколь позорною игрушкой
Ему быть в свете суждено?!

Доколь расхожею монетой
У едких сплетниц на устах
Он будет веселеньем света
И тенью черного креста?!

Но тень и на его Наталье,
Что мнил он светлым образцом...
Не ведал Пушкин: женка тайно
Встречалась все же с подлецом!..

Как чист душой невольник чести!
Как страшен черных сплетен плен...
В беде поэту не до мести –
Он правду ищет на земле!

Курок взведен и жизнь на мушке!
Река застыла... Замер лес...
Надеялся на Бога Пушкин,
Но первым выстрелил Дантес...

ОХОТНЫЙ РЯД

Талантом быть небезопасно –
В салонах чопорных столиц,
Вращенная ревнивой властью,
Следит за гениями каста
Холодных мстительных убийц.

Вчера погиб невольник чести....
Убийствам этим нет конца.
Вот Лермонтов – исход известен,
Убит безжалостно, из мести
Рукою друга-подлеца!

Уже витает смерть над Блоком...
Не ждите выстрела в упор:
Он с голода умрет до срока –

Ведь революцией пророку
Уже подписан приговор!

Есенин мечется потерей —
Подведена под ним черта.
Прием убийц давно проверен
И вот поставлен в «Англетере»
Кроваво-мстительный спектакль!

И снова горизонт свинцовый,
И вновь востребован гранит —
Россия в облике Рубцова
Печаль безмерную хранит...

Но список, видно, не окончен —
Грядут другие имена
И беды новые пророчит
Своим талантам между строчек
Моя великая страна!

Храни и грусть свою, и силу,
И блеск безжалостных столиц —
Ведь все равно в святой России
Талантов больше, чем убийц!

МОИ ЖУРАВЛИ

Светлой памяти брата Алексея

В поднебесье опять зазвучала
Песня-клич на высокой струне.
Сколько боли с ней, сколько печали
И тоски по родной стороне...

Пусть поет журавлиная стая
Православную песню свою,
Может скоро и я, отлетая,
Слабым голосом ей подпою.

Подпою по-есенински нежно,
По-рубцовски свежо и светло.
И почувствую всю неизбежность
Расставанья с небесным теплом...

Над погостом моим и над станом,
Невеселый мотив обронив,
Отпоет меня грустная стая,
И оплачут мои журавли...

ПЕРСПЕКТИВА

Дмитрию Маматову

Я выхожу к своей черте,
Как на итоговое вече,
И грустно мне: вокруг не те,
А те? А те давно далече.

Одних и след уже пропал,
Других опутали недуги.
Утихли, помудрели други
Веселых игрищ и забав.

И сам я не чета себе —
И не боец и не оратай...
Ни друга рядом и ни брата,
Лишь странный звук из-под небес...

ОЖИВШИМ В ГРАНИТЕ

Кто о чём, я снова о салютах,
Что державу озаряли славой!
Я о битве Сталинградской лютой,
Я о битве танковой кровавой.

Я о тех, кто никогда не встанет
И цветы к граниту не положит,
Потому что сам смертельно ранен,
Потому что сам в граните ожил!

ПРОЗА

Екатерина КОРОТКОВА

«... КОГО НАЙДУ, ТОГО УБЬЮ!»

— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, — крикнула девочка Верка, и Володя хлопнулся на землю.

Над головой у него закачались лопухи. Бежал он быстро и стукнулся сильно. Но он привык — в пионерлагере играли только так. Бежать во все лопатки и сразу вниз. Ушибся — чепуха. Люди в лужи с разбегу бросаются, поскольку каждая секунда на счету.

— Кто за мной стоит, тот в огне горит, — кричала девочка Верка, как полагается, всякие ужасы. Потом закончила: — Кого найду, того убью!

К тому времени перестали качаться лопухи. У них в лагере было рассчитано всё до секунды. Основательно играли, без дураков. Применяться к местности, ползти по-пластунски — хоть десять километров, если требуется обходной маневр. Однажды три часа кон длился, не могли последнего найти. Уполз куда-то к соседней деревне.

Володя поднял голову и стал изучать местность. Неподалеку — небольшой бугорок, бабушка такие называла: кочка. Верка моталась возле самого столба, боялась, как бы кто себя не выручил. Володя по-пластунски пополз к бугорку.

У них в лагере ещё до войны так натренировались ползать, что когда ловили шпиона, все три отряда почти от станции до самой рощи ползли, окружив его многоярусной рассыпной цепью, и шпион не заметил. Посредине рощи цепь, вернее, несколько цепей, сомкнулись, и шпиона взяли. Куда ему деваться, если весь лагерь вместе с пионервожатыми стеной стоит?

Володя, применившись к бугорку, огляделся как следует и заметил кусты, по которым можно было добраться до палочки-ручалочки совсем с неожиданной стороны. Крюк порядочный, но дело того стоило.

Верка решила, двинулась куда-то, и Володя пробрался к кустам.

Кусты были малорослые, но довольно густые. Чем дальше уползал он вглубь кустарника, тем быстрее полз. Тут уж не страшно было шуршать, раздвигать резко ветки.

В пионерлагере он играл в пряталки не хуже других, хотя был второй по младше. Моложе его только Костя, поварихин сын. Этому вообще пять лет.

У них в третьем отряде пионеров ещё не было, но конечно, все школьники. Кто кончил первый, кто второй, а кто так даже третий класс. Володя же попал туда по блату.

Пришла в один прекрасный день Любаша, мамина подруга, и сказала:

— Зизи, кристалл души моей! Хочешь, пацана в лагерь пристроим?

Мама нахмурилась, она не любила, чтобы её дразнили кристаллом. Она сказала, что Володя ещё маленький, что в лагерь только школьников берут.

Возьмут и нашего, — ответила Любаша. — Знаешь, кто начальник лагеря? Мой выдвиженец! Выдвигался, выдвигался, а теперь задвинули.

— То есть как? — сказала мама. — Вы же разошлись?

— Ну и что? Со всеми бывшими мужьями я сохраняю дружеские отношения.

Это было верно. Это знали все. И Володя знал. С выдвиженцем дружеские отношения, наверное, возникли уже после развода — Володя раньше о них не слышал. Слышал же наоборот, как Любаша жаловалась маме:

— Представляешь? Уровень культурный поднимает. Начитался великосветских книг и оттуда выудил, что когда супруги в ссоре, полагается переходить на вы. На днях поцапались, и вдруг гляжу: становится в великосветскую позу и говорит: вы собака. Зинка, это же с ума сойти!

— Палочка-ручалочка, выручи меня! — закричал кто-то вдали диким голосом.

Володя выглянул из кустов. Кажется, это какой-то соседский. К столбу с отчаянным лицом неслась девочка Верка. Он подумал, что затеял слишком уж далекий обходной маневр. Но пока там переловят всех соседских и троюродных...

В Днепропетровск их эшелон прибыл вчера. Долго шли, сперва в сумерках, потом в темноте по длинной улице, всё в горку, в горку. Мама часто ставила на землю чемоданы, чем дальше, тем чаще. Володя тоже устал — он тащил довольно увесистый узел, и когда мама со вздохом бухала чемоданы на тротуар, Володя клал свой узел рядом, на траву. На этой улице в Днепропетровске тротуаром была просто дорожка, по бокам которой росла трава.

Родня приняла их хорошо: охали, кормили картошкой. Изголодавшийся Володя отяжелел от еды, а когда проснулся

утром, мама уже ушла: в воинскую часть, искать папу.

Сейчас утром, когда спать не хотелось, и в комнате было светло, Володя обнаружил, что у него множество троюродных сестер и братьев. Тетя Домна — бабушка звала её Домаха — дала Володе пшенной каши с молоком, а после этого троюродные пошли показывать Володе щель.

Щель была в саду, большая, замечательная щель, Володя спустился туда вместе с троюродными и увидел, что в щели горит свеча, а вокруг свечи сидят и что-то делают с ней какие-то ребята, мальчики и девочки.

Оказалось, что это соседские. Щель была общая, её выкопали объединенными усилиями обе семьи.

Кусты поредели. Приморившийся Володя забеспокоился, что не туда уполз — он давно уже не слышал криков у столба. Но вот он выбрался на открытое место и даже рот раскрыл — столб прямо перед ним. Володя вихрем бросился к нему, заколотил рукой по теплому от солнца дереву и завопил, ликуя:

— Палочка-ручалочка, выручи меня!

Молчанье. Ни души. Он потоптался, прошел несколько шагов вперед. В дальнем конце сада какое-то мелькание, вроде кто-то бегаёт среди деревьев. Он прислушался. Знакомые голоса.

Володя двинулся в ту сторону. Увы, троюродные и соседские не стали его дожидаться, смылись в сад и снова во что-то играют.

Убедившись в этом окончательно, он постоял, подумал и решил к ним не ходить. Неприятно. У них в лагере так не играли. Человек ползет, старается, а им и дела нет.

На лагере и пряталках свет клином не сошелся. За свою восьмилетнюю жизнь Володя наигрался в разные игры в большом, гулком киевском дворе, где не было отчетливой границы между игрой и дракой. Но и там существовали правила. Когда ему разбили камнем голову и вылили на него столько йоду, что даже вспомнить жутко, он твердо знал: пульнули по всем правилам, без подлости.

А когда большой мальчик Андрей избил его ногами, Володя забыл про боль, но вспоминает до сих пор с удовольствием, как он удивился, этот Андрей, когда Володя встал на цыпочки и, ужасаясь своей дерзости, сделал то, что следовало — дал ему по морде. Символически, как сказали бы взрослые.

— И чего он лыбится, козявка, — пожаловался Андрей своему лучшему другу Рюрику, по прозвищу Троллейбус. — Я ему так надавал, и ногами, и все, а он лыбится.

— С битой мордой ходишь, Андрюха, — ответил Троллейбус. — Вот он и лыбится.

Володя побрел к калитке. Большая черная собака, лежавшая на траве, увидев его, подняла голову. Он обрадовался. Как-никак компания.

— Вы не пойдете со мной погулять? — спросил он черную собаку.

Черной собаке гулять не хотелось. Но ей жаль было этого, который долго полз на животе и сопел в кустах, в то время, как все остальные давно удрали в сад и скачут там на задних лапах. Она вздохнула и направилась к калитке.

Они пошли вчерашней улицей по земляному тротуару, только под горку, а не в горку, как вчера.

Эта улица ведет к вокзалу. Может быть, он встретит там родителей. Может быть, папа уже оформил аттестат. Володин папа не оформил его вовремя, потому что очень спешил на фронт. Он пошел на фронт из самых-самых первых.

Война началась в воскресенье, в родительский день. За этот день Володя, как никто, напсиховался. Сначала утром в положенный для родителей час в лагерь не приехал ни один родитель. Потом пополз этот невероятный слух: война. Володя слуху, конечно, не верил, но стало тошно. Без того переживаешь, а тут ещё слух.

Днём стали приезжать родители, но только не к нему. И родители эти, чужие, подтверждали слух насчет войны. Чем дальше, тем Володе становилось беспокойней. Но он держался, ждал своих и, единственный во всем лагере, не верил в войну. А свои явились вечером, последними. Папа с самого утра ушел в военкомат, чтобы побыстрее попасть на фронт.

После этого родительского дня Володя прожил в лагере ещё две недели. Часть ребят родители увезли, но не всех. Играли в пряталки, как до войны, и говорили, что сейчас особенно важно применяться к местности и ползать попластунски. Однажды поймали шпиона.

Несколько раз ночью бывали бомбежки. В комнату входила вожатая Нина, будила тех, кто ещё не проснулся, и вела свой поредевший отряд прятаться в щель. Щелей было штук пять, но плохонькие, не чета днепропетровской. Ёжась от холода, ребята молча проходили через двор и при взрывах оглядывались на небо. Освещенное дальней вспышкой, оно светлело, как перед рассветом. Было красиво, необычно и немного страшно.

Но вот и Володю забрали из лагеря в город. В Киеве на

него хлынул целый ливень новых слов. Бомбоубежище, взрывная волна, осколки, светомаскировка, эвакуация, эшелон, аттестат. Слова новые, но оказалось, все они имеют отношение к Володе.

Вечером на улице нос расшибешь, темнотища — светомаскировка. На окнах наклеены бумажные кресты. Володя сперва подумал, что это бабушка так просит Бога о защите. Но кресты белели и на чужих окнах. Не может ведь быть, чтобы в каждой квартире жила такая верующая бабушка, как у Володи. Потом он узнал: кресты эти для того, чтобы не лопались от взрывной волны стекла.

В бомбоубежище Володя не ходит. Суетливые взрослые сломя голову мчатся в подвал. А он стоит себе на улице, как ни в чем не бывало. Откровенно говоря, он немного презирает этих взрослых. Широко разинув рот, смотрит, как из пуза самолета высыпаются черные бомбочки. За три недели он перевидал столько бомбежек, что трижды видел выбросившихся из подбитого бомбардировщика маленьких немецких парашютистиков.

Бабушка молится перед лампадкой и иконой о воине Викторе. Мама, как придет с работы, первый вопрос: «От воина Виктора опять нет писем?» «Грех смеяться, Зиночка, кушение», — обижается бабушка.

Но вот он пришел, треугольный конверт, полевая почта номер такой-то — теперь писали полевую почту, а не города — и все узнали, что папа в Днепропетровске.

Тетя Ната совсем расхворалась. Каждый вечер всё один и тот же разговор. Володя, перечитывая в сотый раз «Буратино», только и слышит эти, уж точно имеющие к нему отношение слова: «эшелон», «эвакуация». Идет эвакуация, с вокзала каждый день отправляются эшелоны, а мама всё откладывает, она ждет, когда поправится тетя Ната.

Забегал как-то Володя в Ботанику — Ботанический сад, а там военный ансамбль исполняет новые песни и одну очень смешную: «Гитлер ду-ду-ду-ду-ду-ду-думает в Берлине о Советской Украине», надувая щеки, пели бойцы.

Прибежал домой — нет тети Наты, увезли в больницу. Совсем плохо стало с сердцем. Чтобы сердце не болело, надо быть спокойной. А какое же спокойствие, когда война? Гитлер не только думает об Украине, он по ней идёт.

Теперь бабушка твердо сказала: пусть мама едет в эвакуацию вдвоем с Володей. Она, бабушка, больную дочь не бросит, останется здесь. А маме с Володей давно пора ехать.

Бабушка молилась подолгу перед зеленой лампадкой обо

всех воинах-защитниках и Викторе войне отдельно, о болящей Наталье и о Зинаиде с очадом. Володя знает: очад — это он.

И мама уже не спорила, но всё никак не могла собраться с духом, пойти на вокзал и устроиться в эшелон. А бабушка её торопила. Гитлер очень уж быстро продвигался по Советской Украине. Честно говоря, ещё совсем недавно никто этого не ожидал.

А потом пришла Любаша и сказала, что эшелон, которым поедут Володя с мамой, отправляется завтра в восемь утра, так что надо поворачиваться. Она помогла им собрать вещи и проводила на вокзал. Бабушке ходить туда запретила: «Вас там затолкают, не выберетесь. Не представляете, что там творится. Вавилонское столпотворение».

— Прощай, Зизи, кристалл души моей! — сказала она маме перед отправкой эшелона.

Мама ни капельки не обиделась на кристалл, обняла Любашу и заплакала:

Любочка, любимая моя подружка! Самая лучшая, самая добрая! Маму не оставляй.

— Что ты, что ты, я к предчихе зайду прямо с вокзала. Каждый день к ней буду заходить. Только дней-то этих кот наплакал.

Любаша уезжала через неделю и увозила с собой целую орду — свою собственную маму, которую тоже называла предчихой, всех своих детей и самую последнюю свекровь.

Эшелон, в который они сели с мамой, шел на Северный Кавказ, в безопасные края, далеко на востоке. Но маме очень уж хотелось повидаться с папой. Она сваливала на аттестат, хотя все говорили, что аттестат можно оформить заочно. Как-то ранним утром в странном сером городе Конграде они пересели в новый эшелон, сплошь состоявший из открытых платформ. Этот двигался к Днепропетровску.

Стоял август. Вечерами над эшелоном раскидывалось звездное небо. Володя лежал на спине, слушал стук колес и смотрел в это теплое, большое, темно-синее, всё в ярких звездах небо. Временами падала звезда, медленно проводя по небу светящуюся черту. Девочка Аллочка, с которой Володя дружил на платформе, объяснила ему, что, когда падает звезда, надо задумывать желание, и если успеешь задумать, пока она падает, желание исполнится. Аллочка сказала, что в августе звезды падают особенно часто. Она пользовалась этим на всю катушку.

Черная собака внезапно села. Оказалось, они добрались почти до самого вокзала. Крику на вокзальной площади все

равно, что на базаре, куда бабушка иногда брала его. Наверное, там папа хлопочет насчет эшелона, и мама рядом с ним.

— Вы не хотите идти на площадь? — спросил Володя черную собаку.

Собака не хотела, но из деликатности сидела и ждала. Володя понял всё, сказал собаке «До свиданья» и пошел уже один, туда, откуда нёсся возбужденный гул.

— Здорово, брат! Куда это собрался? — вдруг услышал он женский голос, немного знакомый.

Он и не заметил, объясняясь с черной собакой, что в нескольких шагах от них стоит тетенька из их эшелона. Весь эшелон Володя, конечно, не знал, и даже всю свою платформу, но эту тетеньку запомнил.

В день отправки из Конграда они жарились на открытой платформе, как караси на сковородке. Когда стемнело, начали дремать, пристроившись на собственных вещах. И тут она явилась, эта тетка, и приволокла огромный кусок фанеры. «А ну, граждане, очистим платформу! В темпе, в темпе, по-стахановски! Потом сами же спасибо будете говорить!» Граждане отругивались довольно сварливо, тетенька упорствовала и в довольно быстрый срок с помощью сердитых граждан затолкала свою фанеру на очищенную часть платформы. «А ну, граждане, все друженько взялись, тащим вверх, все дружно, по-стахановски!»

Зачем понадобилась эта фанера, Володя выяснил дней через пять. Пошел дождь, фанеру подняли над платформой, граждане молча вползли под неё и сидели, как под крышей. Спасибо тетеньке никто не сказал.

— Я на вокзал собрался. Надо поискать родителей.

— Поискать, конечно, можно, только вряд ли ты кого найдешь.

Содом и Гоморра. — Даже эта с фанерой говорила взрослые непонятные слова. — Пошли на пару, что ли, поищем.

— Спасибо, если это вам не трудно.

— Пожалуйста. Допустим даже трудно, но трудности, брат, надо преодолевать.

Антонина Алексеевна — так звали фанерную тетку — зачем-то ухватила Володю за руку и, не отпуская, как маленького, потащила за собой.

Антонина Алексеевна, конечно, тоже не помнила всех обитателей платформы. Но она всегда глядела больше не на взрослых, а на детей. Двое приятелей, ближайшие её соседи,

всё время лезли ей в глаза и даже навели на печальные мысли. «Мужик всегда мужик, — удрученно размышляла она, — что ему десять лет, что сорок. Хлебом его не корми, дай забиться под каблук такой штуке. И чем лучше парень, тем сподручней из него веревки вить».

Малолетняя «штука» неумоимо и изобретательно вила веревки из малолетнего кавалера. По вечерам, когда падали звезды, они задумывали, судя по всему, какие-то желания.

Антонина Алексеевна, словно не было у неё других забот, пыталась догадаться: что задумывают? Чтоб кончилась война? Для взрослых — главное сейчас желание. А с этих станется задумать и про вечную любовь: свадьба в шестнадцать лет, а потом, как в сказке — всю жизнь счастливо и умереть в один день.

На вокзальной площади было полно народу. И в самом деле Содом-Могомора. Народ метался около вокзала, обменивался слухами, причитал, галдел: «Вы слышали, сказали, отправления не будет». «То есть, как? Только что воинский эшелон ушел!» «Воинский — другое дело». «Я фактически вам говорю: никого больше отсюда не отправят». «Где этот мальчик, куда он ушел? Это бич божий, а не ребенок!» «Немцы к городу подходят. В восьми километрах».

А в самом центре площади возвышалась гора, какой Володя отродясь не видел. Гора из чемоданов, из свернутых одеял, узлов, ведер, чайников, портфелей, словом, всякой всячины, которую только может захватить с собой человек, отправившийся в эвакуацию.

Кое-где на склонах этой горы сидели, отдыхая, горные жители. Кто-то закусывал. Старенький дедушка спал.

Володя с Антониной Алексеевной, промотавшись в гуще Могомору чуть не час, тоже решили отдохнуть и «в темпе, по-стахановски» заняли освободившееся на вокзальных ступеньках местечко,

Антонина Алексеевна, вообще, хоть и старая и довольно нескладная с виду, ориентировалась и применялась к обстановке, как образцовый боец.

Голоса у них над головами произносили те же фразы, которых Володя наслушался, курсируя в толпе. «Вы слышали? Говорят, станцию перенесли на тот берег». «Немцы в восьми километрах стоят».

Здесь на ступеньках, хоть и в галдеже, можно было всё-таки поговорить. Расхрабрившись, Володя спросил, не обижаются ли Антонина Алексеевна на тех людей, которые с ней поругались, а потом прятались под её фанерой от дождя и не сказали ей спасибо.

Она не обижалась. «На кой ляд мне их спасибо? Шубу с него шить? Не смекнули, поорали спросонок. И кому это приятно каяться: извините, мол, великодушно, пустите, Бога ради, под ваш шикарный тент».

Она расстроилась, когда Володя сдуру брякнул, что девочка Аллочка, с которой он дружил на платформе, вечерами, если падала звезда, чаще всего задумывала одно и то же желание: чтобы Антонина Алексеевна отстала от поезда.

— Это какая же Аллочка? — хмуро спросила она. — В позолоченных бусах, за которой ты ходил, разинув рот? Такая маленькая женщина?

Володя удрученно молчал. Он уже понял, что обидел Антонину Алексеевну.

— Ну, а ты, галантный кавалер? Тоже мне желал от поезда отстать?

— Нет, — уныло ответил Володя. — Я другое задумывал. Чтобы немцы не взяли Киев.

— Остался, что ли, кто у вас?

— Бабушка и тетя Ната. Тетя Ната в больнице. У неё сердце плохое.

Антонина Алексеевна вздохнула.

— Такие дела. А я-то думаю, какого лядя вы всё лето в Киеве проканителелись? Невесёлые, брат, у вас дела. А в Днепропетровск за каким дьяволом вас угораздило, к немцам поближе? Для остроты ощущений?

Володя объяснил про аттестат. «Интеллигенция», — сказала Антонина Алексеевна, одновременно одобрительно и с укоризной.

— Антонина Алексеевна, — осторожно начал Володя. — Я тоже вот хотел у вас спросить. Вы не обидитесь?

— А дьявол меня знает. Ты, брат, с сюрпризами мужичок. Валяй, спрашивай.

— Я хотел спросить, за каким лядом, — чтобы задобрить Антонину Алексеевну, Володя старательно употреблял её любимые слова, — за каким лядом вас-то сюда угораздило?

— Изысканно выражаешься, брат. Старикам одним помочь хотела. Муж с женой, работали мы когда-то вместе, замечательные старики. Без меня эвакуировались. Самые близкие мне на свете люди. Даже ключ оставили для меня. Я ведь одинокая. Старая дева.

Володя обратил внимание, что Антонина Алексеевна смешивает несоединяемые слова: «маленькая женщина», «старая дева». Но почему-то слова эти соединялись не бессмысленно, а складно. К Аллочке подходило название

«маленькая женщина». «Старая дева», конечно, очень странно, но похоже на Антонину Алексеевну.

— В двух шагах отсюда моя штаб-квартира, — сказала Антонина Алексеевна. — Может, сходим, хоть чайку попьем.

Толпа беженцев, галдевших на вокзальной площади, вдруг хлынула в центр, к чемоданной горе. В воздухе возник какой-то новый звук, какой именно — Володя не успел понять — Антонина Алексеевна, схватив его за руку, с такой быстротой потащила к горе, что чуть не оторвала ему руку. Они с разбегу шлюхнулись на чьи-то вещи, как при игре в пряталки после слов «иду искать!»

Звук нарастал. Володя, может, даже слышал его раньше, но не такой громкий. «Бомбить», «бомбежка», шелестели рядом голоса. Чего придумали? Володя понимал, что бомбить вокзальную площадь никто не будет. Здесь же только женщины с детьми да старики. Неужели прилетят самолеты, чтобы сбросить бомбы на гору, сложенную из чемоданов, ведер, узлов?

Артобстрел. Ну ясно, артобстрел. Совсем другое дело. Почему по женщинам, детям и старикам можно стрелять из артиллерийских орудий, тоже не совсем понятно, но на войне многое непонятно, и всё-таки какой-то смысл в ней должен быть. Страшней бомбежки ничего не бывает. Значит, не может быть, чтоб их бомбили. Но что-то всё же происходит. Артобстрел.

Антонина Алексеевна закрыла его чьей-то большой подушкой. «Это ведь не бомбежка? — спросил Володя. — Артобстрел?» «Обстрел, обстрел», — ответила она.

Вой, грохот, треск. Казалось, раскололись небо и воздух до самой его головы. Какой он страшный, этот грохот. Уши лопаются, тело болит. «Я не могу больше, — думал Володя, — я не могу больше, я умру».

Антонина Алексеевна изо всех сил прижимала к нему подушку. Он понимал: разве подушка спасет? Но в этом грохоте, что обрушился вдруг на площадь и терзает, и мучает всех, только они и были из человеческой жизни, из нормальной, доброй, прежней жизни — чья-то подушка и прижимавшая её к Володе рука.

А потом Антонина Алексеевна тащила Володю по площади сквозь толпу, и ничего страшнее он не видел в своей жизни. Все мечутся, у всех странные, потрясенные лица, испуганные, стеклянные глаза.

На земле лежит старик, и какая-то бабушка к нему наклонилась и уговаривает, как маленького: «Васенька, родненький! Васенька, ну что же ты, что?» А он не двигается

и не отвечает. Чей-то крик кошмарный, сумасшедший: «Мама, мама, мамочка!» И в других местах кричат такими же жуткими сумасшедшими голосами. «Надя! Надя! Надя!..» и так без конца. Женщина с невидящими глазами несет на руках неподвижное тело девочки. А вон там совсем уж страшное. Он быстро отвернулся. Может быть, почудилось то, что лежало на земле.

А потом он увидел такое, что уже не надо было спрашивать: «Бомбежка?» «Обстрел?» Большой четырехэтажный дом без стены. Груда кирпичей под домом и облако пыли над ними, чьи-то комнаты, мебель, струйки пыли от оставшихся стен.

— Это бомба, это бомба! — с ужасом твердил Володя.

— Ну, бомба, ну чего ты, жив остался, так иди! — кричала Антонина Алексеевна и тащила его в сторону той улицы, где они встретились два часа назад.

— Это бомба, это бомба, — повторял Володя.

Они выбрались, наконец, из толпы, и улица показалась ему необычно пустой и мирной. На ней почти не было людей. Только вдали две фигуры. Антонина Алексеевна упорно тащила его вперед. Потом те двое побежали им навстречу.

— Твой что ли папаша, лейтенант-очкарик? — спросила Антонина Алексеевна.

— Мамочка! — крикнул Володя и бросился и прижался к ней.

Они не пошли к тете Домахе по длинной улице в горку. Они сидели в комнате стариков, которые эвакуировались, не дождавшись Антонину Алексеевну. В той самой её штаб-квартире, что была в двух шагах от вокзала.

Временами до Володи долетали обрывки их разговоров. На улице он вообще ничего не соображал. Только время от времени мерно тикало в голове, как большие синие ходики, что висели у них в Киеве на стенке: «Это бомба. Это бомба».

Голоса взрослых были еле слышны, будто голову ему обмотали ватой. Он понял, что они с мамой останутся тут ночевать, а папа придет завтра утром, и тогда они уедут в каком-то новом эшелоне. Но он не понял, что только из-за него взрослые решили до утра остаться тут, у самого вокзала.

— Передышка ненадолго, — сказала Антонина Алексеевна. — Хорошо наслышана уже про их гнусную привычку бомбить перед взятием город, станцию прежде всего.

Володин папа, во всём любивший точность, начал было объяснять, что это стратегический прием, потом взглянул

на «выключенного» Володю и сказал: «Вы правы, гнусно, как всё в этой войне, где бросают на беженцев бомбы». Не удержались — заговорили о том, что неплохо бы уйти к тете Домахе от «распроклятой станции, с которой все равно уже и поезда не ходят». Но уйти нельзя. «Куда тащить в такую даль парнишку, пусть посидит в квартире, может, отойдет».

Он понемножку отходил. Ему нравилась стариковская штаб-квартира. Тут уютно, как до войны. Ворсистые пестрые кресла, такой же диванчик. Много книг и много ламп. Лампы красивые, все разные и все чудные. Наверное, старинные.

А взрослые всё посматривали на Володю. Забился в уголок дивана, не двигается, не говорит, только поглаживает проплешинку, где вылез ворс. У Володиных родителей сегодня жуткий день. Еще утром пришли к Домахе, а Володи нет. Они и двор обшарили, и сад. «И моих нема. Десь побиглы играть», — успокоила их Домаха. Тогда они отправились оформлять аттестат, заглянув ещё раз перед этим во двор. Но Володя как сквозь землю провалился.

— Я в щели сидел, — сказал Володя.

Все так и охнули. Мама просияла, и Володе на минутку показалось, что она заплачет. Но она зловредным голосом спросила:

— Всё утро под землей? Один? Как крот?

— Зина, не срывай волнение на ребенке. Слава богу, он хоть начал говорить.

Мама вспылчивая, но отходчивая. А у папы сдержанный характер. Володе жаль родителей, но ему пока что трудно выдавливать из себя слова.

— Не один. С троюродными и соседскими.

— Мы его ищем по всему двору. Как идиоты бегаем по улице. Зачем это понадобилось забиваться в щель, когда ещё не началась бомбежка?

— Мы гадали. Там ведро с водой. Капали со свечки в кружку, что кому выйдет.

— И что тебе выпало? — спросил любопытный папа. Володя не знал, что папа нарочно заставляет его говорить.

— Не разберешь... Такие круглые..., — Володе вспомнилось, как, наклонившись над кружкой, в большой, темной, как пещера, щели, все смотрят, затаив дыхание, что же там плавает на воде, вспомнилось так отчетливо, что он немного оживился. — Круглые, только длинные, — сказал он. — Вроде зайцев без ушей.

— Этих зайцев без ушей напрыгало тебе, брат, предостаточно с неба, — сказала Антонина Алексеевна и поставила перед Володей большую чашку с чаем. — Гаданье

в руку. Или это только сон бывает в руку?

— Что же ты там со своею черной магией даже есть не захотел? — уже мягче спросила мама.

— Мы там ели. Сало с хлебом.

Общий вздох.

— Концентрат мой, не поймешь, что с ним делать, — пробубнила Антонина Алексеевна. — Единственное: топором рубить. Правда, сухари еще имеются.

Чай подействовал на Володю целительно, хотя по вкусу вовсе не похож был на чай. И по цвету — он был светло-серый. Впервые за все время Володя тоже задал вопрос — куда пропали родители?

— Куда пропали? Эшелон искали подходящий, — с готовностью объяснила вместо них Антонина Алексеевна. С тех пор, как у Володи прорезался голос, все взрослые повеселели. — Куда им пропадать? Всё очень даже просто.

Но тут выяснилось, что всё совсем не так уж просто. Что до вокзала мама с папой не дошли и поэтому не имели возможности заниматься поисками эшелона.

Володин папа носит очки. Волосы у него белокурого цвета. Кроме того, по дороге из штаба, где был оформлен, наконец, аттестат, папа раза два остановился показать маме постройку девятнадцатого века. Всех этих причин оказалось больше чем достаточно, чтобы Володиного папу приняли за шпиона и потащили в комендатуру.

— Окружила вдруг со всех сторон толпа, — с недоумением рассказывал папа. — Я и не заметил, откуда набежали. А они кричат: давно за ним наблюдаем.

— Следовали за тобой рассыпной цепью, — со знанием дела объяснил Володя. — Мы когда в лагере шпиона ловили, он нас тоже не заметил. Окружили и хана.

— То есть как это хана? Самосуд? — Папа вечно таким вот макаром учит Володю правильно говорить. — Вы должны были доставить его в комендатуру.

— Не было там комендатуры. Мы доставили его в сельсовет.

— Настоящего шпиона? — изумился папа. — Он не сопротивлялся?

— Куда ему? Он один, а нас целый лагерь.

Папа то вскакивал, то садился. Пора уходить, но после сегодняшней истории ему хотелось выяснить, как поступают с настоящими шпионами.

И Володя рассказал, как их благодарили в сельсовете, как председатель пожал старшему вожатому руку, а ребятам вежливо объяснил, что пойманный ими шпион — местный

житель и «искони веков ходит домой не по шоссе, а через рощу, для ради прогулки».

— Ради прогулки, — машинально поправил папа. И озабоченно спросил: — Вы хоть не тыкали его кулаками под ребра? — При этом он провел руками по бокам.

Потом папа взглянул на часы, охнул и сказал, что завтра чем свет их поднимет и переправит на тот берег Днепра.

— Ты не стесняйся, — сказала ему на прощанье мама, — зайди в санчасть, пусть тебе йодную решеточку сделают на ребрах. У тебя же, наверно, все бока в синяках. Просто фурии какие-то, а не бабы.

— Какую решеточку? — с ужасом сказал папа. — Люди раненные в бой идут.

А Володя испугался: не наставили ли фурии и маме синяков на ребрах. Папа, стоя уже на пороге, его успокоил. У мамы ярко выраженный украинский тип. Её приняли за легковерную жертву коварного шпиона, который использовал её, как щит.

— Легковерную..., — пробормотала мама, когда за папой захлопнулась дверь. Её черные, ярко выраженные украинские глаза гневно сверкнули. Маме вспомнился въедливый старикан, назидательно ей говоривший: «Легкомысленно ведете себя, гражданочка. Потеря бдительности у таких, как вы, играет на руку врагу».

Мама с Антониной Алексеевной ушли драконить концентрат на кухню. Предложила это Антонина Алексеевна: «Надо что-то делать с окаянными. Не раздраконим — оголодаем».

Володя перелез в другой угол диванчика и размышлял, какие разные бывают комнаты, и как по-разному в них люди живут. Эта стариковская — богатая комната. Пестрый ворс с проплешинами. Необыкновенные лампы: одна, например, керосиновая, но под абажуром. Книги не на полках, а в книжных шкафах.

У них в Киеве тоже много книг. Но шкафов нет, есть этажерка. Кое-что на платяном шкафу. Основная же библиотека — в ванне. Ванна наполнена книгами до краев. Поверх ванны, прикрывая книги, лежит широкий деревянный щит. На щите матрас, подушка, одеяло. Здесь спит соседка Нюра, по прозвищу китаянка, большая, рыжая, толстая, с выпуклыми светлыми глазами. Встает она поздно и утром, лежа на своем щите, любит поболтать с соседями, которые приходят умываться.

Володя, как все люди, умывается по утрам, но кроме этого он и днем туда забегает. Приподнимает щит, запускает в

ванну руку и вытаскивает, что Бог пошлет. Прошлой зимой выудил из ванны книгу писателя Поль де Кока. Прочел с удовольствием — он любит читать, но усвоил маловато — понял лишь, что в книге действуют какие-то графини.

Любимые его книги Андерсен и «Буратино». Он все чаще поглядывает на стариковские шкафы. Наверное, в таких шкафах самые интересные книги на свете. Хорошо бы почитать, пока не начали бомбить.

А у Любаши, маминой подруги, всё не так, как здесь, и не так, как у них. У Любаши, прежде всего патефон. Полно гостей и патефон. Рядом с патефоном на столе — нарезанные французские булочки и очень вкусная колбаса на бумажке. Кто хочет, делает себе бутерброд. А в углу прикрытая марлей коляска. Там спит маленькая девочка, Любашина дочка. Она привыкла к патефону, крепко спит и никогда не плачет.

Другие Любашины дети рассованы кто куда. Один в яслях, ещё кто-то у предчихи. У Любаши много детей и все от разных мужей. Эту формулу Володя слышит так часто, что воспринимает её, как закон природы.

В тихом уголке, рядом с коляской, Володя терпеливо ждет, когда кончатся все эти танго и фокстроты. Неутомимые взрослые отплясывают до тех пор, пока уже ноги не держат. Тогда они садятся и начинают петь. И замученный фокстротами Володя пристает, чтобы спели его любимую «Там вдали за рекой загорелись огни». Он просит, он умоляет, он ноет и добивается, наконец, своего. Когда он слышит, как звонкие молодые голоса хором выводят: «Ты мой конь вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих...», он счастлив, это самые счастливые минуты в его жизни.

«А пластинки ты не любишь? Ни одной?» — как-то спросили его у Любаши. «Одну», — ответил он. Все засмеялись, решили, что он шутит.

Но Володя, в самом деле, любит одну пластинку. Она называется «Дождь идет». Мужской голос поёт не по-русски. На каком языке он поёт, Володя узнал у мамы — на французском. Когда он слушает эту пластинку, он представляет себе большую комнату, темноватую, полупустую. По комнате ходит грустный француз и поёт, красиво и негромко. А на улице идет дождь, и по стеклам окна тихо сбегает кривые струйки.

— Таким образом, можно считать, я вроде как выдвигенка, — сказала Антонина Алексеевна, открывая дверь ногой и внося в комнату кастрюльку со сваренным концентратом. Её слова относились к маме, которая шла

позади, но поразили главным образом Володю. Единственный выдвиженец, которого он встречал, — их начальник лагеря, бывший муж Любаши.

— Ты чего уставился, как на призрак? Концентрат вполне съедобный, сейчас поешь и будешь спать.

— Выдвиженка? — переспросил Володя. — Это значит, если вы с кем ссоритесь, то говорите: вы собака?

— Не вали, брат, с больной головы на здоровую. Кто из нас двоих с собаками на вы? На моих глазах беседа протекла.

Каким далеким казался тот жаркий дневной час, когда Володя попрощался с черной собакой, проводившей его до вокзала. Мама страшными глазами посмотрела на Володю и сказала:

— Вы, должно быть, очень любите детей?

— Дети занятный народец, — сказала Антонина Алексеевна и на мамин вопрос: «Чем такой уж занятный?» повела совершенно удивительные речи, из которых никак нельзя было понять, любит ли она детей. Тут уж не только Володя развесил уши, тут даже мама, беззвучно разливая по тарелкам концентрат — обыкновенный суп, только чудного вида, как очень жидкое пюре — искоса поглядывала на Антонину Алексеевну.

Дети, оказывается, зеркало жизни. Всё замечают и отражают. «Мы живем с ними бок о бок и ни черта не видим, а они у нас всё подмечают». Володя удивился. Он считал, наоборот, это взрослые всё замечают. «Откуда у тебя сзади пятно на майке? Снова лазил в подвал?» Очень даже замечают. Правда, может быть, не отражают?

— Те же дразнилки. Слышу как-то, дружелюбно этак, толстячка приглашают: «Жиртрест, давай с тобой играть». Учреждений с сокращенными названиями развелось сверх меры, и пожалуйста, как толстый пацан — так жиртрест.

Что все толстые — жиртресты, Володя давно знает, но ему не приходило в голову, что жиртресты могут что-то отражать.

— Вы учительница? — спросила мама.

— Работала одно время с детьми, — сказала Антонина Алексеевна. Володя видел: ей не хочется об этом говорить. И мама заметила это. Но Антонина Алексеевна рассказала про себя сама:

— Мать умерла, я ещё девочкой была. Соседки, помню, все меня пугали: «Женится папаша на молоденькой, народит она ему детей, а тебя засадят нянькой». Дуры бабы, невдомек, что мне того и надо. Сколько себя помню, всё с детишками вожусь. Меня и дразнили-то по-уличному — Нянька.

Мама стала спрашивать, кто был у Антонины Алексеевны отец и женился ли он еще раз?

Оказалось, он второй раз не женился. А работал почтальоном.

— Песню знаете, её все знают; Лемешев поет, русская народная. «Когда я на почте служил ямщиком...» — пропела Антонина Алексеевна неожиданно тонким голосом и совсем без слуха. — Так ямщик-то не в одиночку ездил, почтальона возил. Отец наш и был таким почтальоном.

Антонина Алексеевна, как они узнали, жила очень далеко — в Оренбурге. Её отец и ямщик ездил по степям в страшные, «трескучие» морозы, каких в Киеве не бывает никогда. Антонина Алексеевна боялась, что их занесет снегом во время метели, как Петрушу Гринева с Савельичем. Отец же её не боялся ничего.

Он не боялся, зато его боялись. Один из сыновей сказал ему однажды: «Вы не отец, вы урядник. Заходите в комнату — все замолкают».

Но Антонина Алексеевна утверждала, что, невзирая на «бешеный нрав», отец её был добрым и хорошим человеком, и огорчалась, что он умер совсем ещё не старым, в гражданскую войну от сыпняка.

— Яицкий казак — одно слово, — закончила она рассказывать об отце. — Как сказали бы сейчас, «типичный представитель».

И Володя вообразил себе, как в уютную комнату, где трещат дрова в горячей печке, и горит большая керосиновая лампа на столе, внезапно входит, весь в снегу, человек, бородатый, в мохнатой папахе, в руке нагайка, на плече почтальонская сумка. И все сразу замолкают и с испугом смотрят на него.

А дальше Антонина Алексеевна рассказала совсем уж интересные вещи: она воевала с белыми. «Братья на фронт — и я туда же подалась. Красноармеец из меня вышел вполне пристойный».

Володя смотрел на неё во все глаза. Он почему-то обрадовался, что Антонина Алексеевна была геройским красноармейцем. Наверное, геройским, раз уж сама говорит «пристойный».

— Ну, а после войны? — спросила мама.

После войны, как говорится, все дороги были открыты. Особенно передо мной. Домой вернулась — дом пустой, братья убиты, папа умер.

Она задумалась. Володя и мама молчали. Мама собрала тарелки из-под концентрата и поставила их стопкой.

— Все дороги передо мной открыты, а я одна на белом свете. Как перст. Все говорят: «Ищи себе работу по душе». Я и нашла. Две этаких войны! Куда не глянешь — беспризорники. Голодные, в помойках роются, как кошки одичалые. Пошла спасать детей войны.

— На борьбу с беспризорностью? — спросила Володина мама. — Я бы ни за что не смогла. Получилось это у вас?

— Получилось, — коротко сказала Антонина Алексеевна, и лицо её стало печальным и хмурым. Она вдруг быстро сказала Володе:

— А ну-ка, сходу ещё дразнилочку, брат.

И Володя выпалил сходу:

— Борис, председатель дохлых крыс. Можно такую?

— Можно! — обрадовалась Антонина Алексеевна. — Это же уму непостижимо, сколько председателей развелось. Трое вахтеров соберутся, когда кому дежурить, тут же выбирают председателя. У всех они есть, как же дохлым крысам-то без председателя? — Она внятно, с выражением произнесла: — Председатель дохлых крыс! Прекрасно.

Похоже было, что мама восторгов Антонины Алексеевны не разделяет. Она сдержанно сказала, что Володе давно пора спать. Тем более что ночью, по всей вероятности, им придется спускаться в убежище. Но Володя категорически отказался спать. Он совсем, ни капельки не хочет спать, он очень просит разрешить ему не^тмножко почитать.

— Может, в бомбоубежище заранее спустимся? — спросила мама, явно убежденная, что никто туда сейчас не пойдет.

— Что же тебе почитать? — бормотала Антонина Алексеевна, оглядывая полки. — Вкусы твои не мешает выяснить...

Вкусы она выяснила в темпе. Сказки. Только сказки. Самые любимые из всех Андерсен и «Буратино». И еще «Конек-Горбунок». А совсем уж самые любимые — «Гадкий утенок» и «Ёлка».

— Такой, значит, набор, — задумчиво произнесла она. — Такой, значит, мальчик. Ну что ж, дай тебе Бог, как говорили в дореволюционные времена. Эта пойдет, как, по-вашему? — спросила она, быстро сняв с полки какую-то книгу и показывая ее маме.

Мама сказала «Ой!» и на лице у нее выразилось восхищение. «У нас дома её почему-то нет, я в библиотеке собиралась взять».

Володя с сомнением рассматривал скучного вида книжку в зелёном картонном переплете. Он сел к столу, и

Антонина Алексеевна зажгла единственную не чудную лампу — как у всех, под оранжевым абажуром.

Мама сходила на кухню сполоснуть тарелки, потом женщины устроились на диванчике и тихо разговаривали. А Володи давно уже не было здесь. Он прочел первые строчки на желтоватой страничке, и не стало этой комнаты и улицы за окном, где в любой момент могла начаться бомбежка.

Он открыл эту страничку, словно дверь открыл. И дверь захлопнулась за ним, и случилось чудо, он оказался вдруг не здесь, а там. Где там? В сказке? Нет, это не сказка. Володя знает: сказки бывают в городе, во дворце, даже в лесу, но не в джунглях. И те, кто там живут, в этих джунглях, не животные и не звери, а жители джунглей. Назвать кого-нибудь из них животным неправильно, просто смешно. Затаив дыхание и широко раскрыв глаза, Володя впитывал каждую строчку.

Его укладывали на постель, подсунули под голову подушку. «Вмиг сварился. Неудивительно. Такой денек», услышал он и совсем уж провалился в сон.

Спал он крепко. Он слышал, всю ночь слышал оглушительные разрывы бомб, но он слышал их сквозь сон. Иногда, тоже сквозь сон, он слышал голоса: «Может, отнесём в убежище? Весь дом спустился, только мы на верхнем этаже». «А кто её угадает, где она тебя достигнет? Может, как раз на лестнице». Он слышал всё: бомбёжку, голоса, но ни разу не проснулся.

Папа пришел вовсе не чем свет — все уже попили чаю с сухарями, по вкусу тоже непохожими на сухари, когда он затрещонил в дверь. Он сиял, он столько сделал за утро, что им и не снилось.

Вещи уже у моста. Откомандирован боец, который переправит их через мост. Вот ходатайство в эвакупункт за подписью начальника штаба с просьбой оказать содействие семье командира. Боец ждет их у моста, а Володю там же, у моста, ждет сюрприз.

Но сюрпризы начались ещё в городе. Володя на пару с Антониной Алексеевной тащил ее плетёную корзинку, он — за одну ручку, она — за другую.

Антонина Алексеевна жила — тянула свою ручку вверх, так что Володя не ощущал никакой тяжести, вроде бы он ничего не нёс. Чтобы получилось поровну, по справедливости, он тоже тянул ручку вверх, и Антонина Алексеевна, наконец, сказала:

— Знаешь что, кончай-ка ты, братец, самоотверженно мне

мешать. Дождешься, отберу корзину. Чего её мыкать?

Володя не успел ничего возразить, как она воскликнула:

— Гляди-ка, гляди, твоя подружка-гуманистка плывет. Та, что мой маршрут направляла по звездам. И не плывет даже, а прямо несёт себя. Воистину, маленькая женщина.

Антонина Алексеевна вновь употребила невозможное выражение — «нести себя», и опять-таки не лишённое смысла. В том, как двигалась им навстречу девочка Аллочка, с которой Володя дружил на платформе, была какая-то особенность, к которой очень подходили слова «нести себя».

На Аллочке было незнакомое Володе белое платьице и знакомые позолоченные бусики. Девочка Аллочка несла не только себя, но и дамскую сумочку, совсем, как у взрослой, только маленького размера — в одной руке, и авоську с буханкой черного хлеба — в другой.

Она увидела Володю еще издали, и Антонину Алексеевну, вдвоем с которой они «мыкали» корзину, очкастого Володиного папу с чемоданами и маму с узлом. Она с веселым изумлением глядела на них, нагруженных и торопливых — и её тоненькие бровки поднялись высоко-высоко.

— Кого я вижу! — сказала она нараспев.

— Здорово, — буркнул Володя. — Ты чего гуляешь, будто времени вагон?

Все воспользовались передышкой и поставили на землю вещи.

— Вагон и маленькая тележка, — уточнила Аллочка. — А куда мне спешить?

Володя просто задохнулся. Ничего себе вопросик!

— Куда спешить? На мост спешить. Отсюда же нельзя уехать.

— Ни отсюда, ни оттуда, — жизнерадостно сказала Аллочка. — Ты сходи на этот мост и погляди, что там делается.

— Удивительно оптимистичная особа, — обескуражено проговорила Антонина Алексеевна. И повернулась к Володиному папе. — Что там делается, Виктор Николаевич? Обстреливают мост?

— И обстреливают, и бомбят, — взалхлеб тараторила Аллочка. — И народу — ужас. Ты к нему даже пройти не сможешь, к своему мосту.

— Так вы что, здесь остаетесь, у немцев? — ужаснулся Володя.

Аллочка пожалала плечами.

— Дошло до центра, наконец. Что мы, сумасшедшие, на

этот мост переться?

До Володиного «центра» доходило с трудом.

— Ну, а как же, если немцы?

— Мы одни, что ли, остаемся? Полный город людей.

— Пойдемте, — сказал папа, поднимая с земли чемоданы.

— Сколько вам лет, барышня, двенадцать, не больше?

Аллочка чуть не фыркнула ему прямо в лицо. Это ж надо такое придумать. Барышня! Её смешила вся эта компания чудаков, вся, кроме Володиной мамы. «Интересная дама», определила её еще в Конграде при посадке Аллочкина мама и пыталась поближе познакомиться с ней — «наши дети так мило сдружились» — но из попытки почему-то ничего не вышло.

Сейчас Аллочка вдруг увидела, как смотрит на неё «интересная дама», не пожелавшая дружить с её мамой, и смешливость её как рукой сняло.

— Девять, — коротко ответила она. — До свиданья.

Они молча прошли квартал. Ничего не поймешь. Хоть убей, не доходит до центра. В городе на самом деле осталось полно людей. И троюродные, и соседские, и добрая тетя Домаха, и желтоволосая Верка, несколько похожая на козу.

— Ей девять, а мне сорок девять, — сказала Антонина Алексеевна. — Только эта девочка взрослей меня. Какая-то она... усложнённая.

— И устөрвлённая, — добавила мама.

У моста и в самом деле топталась такая толпа, что к нему, казалось, и за сутки не пробраться. Володин папа поставил чемодан на чемодан и взгромоздился на них.

— Витька! — возмутилась было мама и умолкла.

Папа внимательно оглядывал толпу. Потом сказал: «Вот он!» и слез с чемоданов. «От меня не отставать», — непривычно строгим голосом распорядился он. И стал двигаться сквозь толпу, повторяя этим новым строгим голосом: «Разрешите», «Позвольте пройти». По очень узенькой и не прямой дорожке они довольно быстро пробились сквозь всю эту массу людей почти к самому мосту.

А там уж был сюрприз из сюрпризов. Телега с настоящей лошадей. И правил этой лошадей боец, которому папа вручил ходатайство из штаба и сказал: «Я на вас очень надеюсь, Лагутин». «Будьте спокойны, товарищ лейтенант», — слегка окая, ответил боец Лагутин. Он был худенький, с голубыми глазами. Даже Володя, никогда не понимавший, как это взрослые делятся на пожилых и молодых, понял, что боец Лагутин молодой.

Примерно через час они были уже на мосту. В самом-

самом его начале. Ухали и свистели снаряды, но не долетали до моста. Степан Сергеевич — так звали молодого бойца, потолковав с Володей о разных разностях, рассказывал ему сказку. Мама тоже рассказывала Антонине Алексеевне — только не сказку, а бьель — как её исключили из комсомола. Володя слышал эту историю несколько раз.

Лошадь Ромашка перебирала ногами и, казалось, она совсем не продвигается вперед. Немного впереди виднелась черная «эмка» и, казалось, она неподвижно стоит в толпе.

Слышалось сплошное шарканье подошв. Мост был плотно забит людьми, так плотно, что хотя они всё время шаркали ногами, казалось, что никто не продвигается вперед — ни идущие пешком люди, ни телега, ни черная «эмка».

Рядом с телегой шли две женщины: худенькая старушка, каких обычно называют «божий одуванчик», и одуванчикова дочь, толстая, с толстой косой, видно, тоже старая, хотя и не седая.

Старушка оперлась рукой на край телеги и посмотрела на Володину маму. Мама покивала головой, мол, опирайтесь на здоровье. «Ой, этот Антон, ой, этот Антон, — бормотала старуха и смотрела с жалостью на дочь, — погубил он бедную девочку».

— Так за что ж вас на ячейку вызывали, за то, что записочки про кавалеров писали? — спросила Антонина Алексеевна.

Справа от телеги шло двое мужчин: один — седой и смуглый, с черными глазами — прихрамывал, опираясь на палку, второй был смешной — маленький, лысый, в очках с толстыми стеклами.

Поющими еврейскими голосами мужчины разговаривали про кино. «Ты «Веселые ребята» видел? Вот Крючков жизни дает!»

Степан Сергеевич закончил сказку и таинственным голосом произнес: «А теперь я тебе, знаешь, про кого расскажу?» Володя глянул на него виновато и сказал: «Извините, пожалуйста, можно немножко потом?»

Люди, шаркавшие по мосту ногами, как по команде, задрали головы и смотрели на небо. «Наши. Наши. Ястребки», шелестело в толпе.

— Прикрывают нас, как вы считаете, товарищ Лагутин? — окликнула ездового Антонина Алексеевна. Володя уже выяснил, что в своей временной сегодняшней должности Степан Сергеевич называется ездовой.

— Похоже, так, — отозвался Лагутин. — Надо же народ оборонить.

И стало жарко от страха. Снаряды выли и плюхались в воду по обе стороны моста, то недалёт, то перелёт. Но, наверно, всё-таки не из-за них вдруг появились над мостом истребители. Не из-за них бредущие понуро люди задирают головы и смотрят в небо. Будет ещё что-то, от чего их собираются оборонить.

А всё же, если смотреть на перила, видно — есть движение. Вон та доска с жирным черным пятном была впереди, а теперь она сзади.

Высокая худая женщина, хмуро глядевшая на небо, вдруг опустила голову и вскрикнула. Она метнулась туда-сюда в плотной толпе, и её хмурые глаза стали испуганными и тоже заметались. А потом она вытащила из-под чьих-то ног стриженного под машинку, совсем мелкого мальчишку. «Дима, лихо ты мое! До чего же настырный ребенок!»

— Дайте этого настырного сюда! — строгим голосом сказала мама. — Он тут тихо будет сидеть.

Мелкаш и правда присмирел, перебираясь на телегу. «Спасибо вам, — сказала его мама. — Вы не представляете, какой это настырный ребенок. Сладу нет!»

Старушка-одуванчик вздыхала, опираясь на бортик: «Ой, этот Антон, ой, этот Антон!» Бедная девочка, её толстая дочка, теперь тоже держалась рукой за телегу и терла клетчатым носовым платочком глаза.

И вот тут-то он раздался, знакомый вчерашний гул.

Володя поднял голову и увидел, как засуетились в небе «ястребки», как, постепенно делаясь все больше, приближаются немецкие бомбардировщики. Их было три.

Володя, не отрываясь, смотрел на тот, что впереди. Вот он, большой и жуткий, словно не замечая истребителей, оказался прямо у него над головой. Володя, как когда-то в Киеве, увидел: из пуза самолета вывалилась черная бомбочка, и тут же уткнулся лицом в колени.

Бомба с воем ринулась вниз и плюхнулась в воду. Потом снова вой, и снова, и ещё. Бомбы, как какие-то железные киты, сигали в Днепр с тяжелым оглушительным всплеском, поднимая фонтаны воды. Воют бомбы, плещется вода, трещат, захлебываясь, пулеметы. А на мосту и крик, и плач. «Вот дают ястребки!» услышал он сквозь шум голос Степана Сергеевича.

Володя не поднимал головы, он ждал: вот какая-то из них попадет в мост, и конец им всем, и Володе, и маме, и всем, кто рядом с телегой, и всем, кто далеко.

А потом шум передвинулся в сторону, Володя не сразу сообразил.

— Отогнали, слава богу, отогнали, — гомонили вокруг голоса,

Володя поднял голову. На телеге лежала старушка-одуванчик, мама шла рядом с телегой, держась рукой за бортик. Антонина Алексеевна что-то доставала из своей корзины. Толстая дочка махала над старушкиным лицом своим клетчатым носовым платком.

Степан Сергеевич заметил Володин испуганный взгляд и пояснил:

— Сомлела. Бабушка твоя ей сейчас побрызгает в лицо, и будет порядок.

— Бабушкой стала на старости лет, — проворчала Антонина Алексеевна.

Она плеснула в лицо старушке воды, и та сразу открыла глаза. Даже хотела сесть, но мама ей сказала: «Не поднимайтесь. Вам сейчас нельзя». И громко спросила:

— Товарищ Лагутин, выдержит Ромашка, если кто-нибудь ещё положит вещи на телегу?

Лагутин оглянулся и сказал, что много класть не следует, но места два-три потянет.

Любители кино положили на телегу один рюкзак — второй они решили нести поочередно. «Женщинам это нужнее. Они целое приданое с собой несут, — объяснил тот, что с палкой, и спросил приятеля: — «Богатую невесту» видел? Вот Крючков жизни дает!»

— Поклоннички у Николая Крюčkова, — не выдержала Антонина Алексеевна. — Всюду он у них жизни дает, где отродясь не играл.

Толстая старухина дочка поставила на телегу плетёную прямоугольную корзину, похожую на сундучок. А мать настырного ребенка хозяйственную сумку — больше в этой семье не было вещей.

Володя оглянулся. Ему казалось, прошло ужас сколько времени, но они совсем не далеко продвинулись вперед.

— Мы ещё не скоро до середины доедем? — спросил он Лагутина.

— Как скоро, так сейчас, — невразумительно ответил тот.

Володя заметил, что старухина дочка глядит на небо, и тоже поднял голову. Ястребки возвращались назад. А потом опять заявятся бомбардировщики, а до середины ещё, наверно, далеко. «Как скоро, так сейчас». Знает он эти взрослые отговорочки.

Он оглянулся. Сколько-то они проехали, но когда же будет хоть середина моста?

— Паразит! — сказала мать настырного ребенка. Все

удивленно повернулись к ней. — Паразит! — повторила она. — Тут на несчастную тележку и людей, и вещей чужих навалили, а этот хоть бы раз у своей «эмки» дверь открыл. Паразит!

— Откуда вам известно, что паразит, а не паразитка? — спросила Антонина Алексеевна, просто чтобы что-то сказать, и оглянулась, в точности, как Володя.

— Ничего мне не известно, — хмуро сказала женщина и покосилась на небо. — Мне одно известно: паразиты так себя ведут.

— Не хочешь сказку, я тебе из жизни расскажу, — оживленно обратился Степан Сергеевич к Володе. — Я, когда малец был, как ты, мне отец гостинец от лисички привозил.

— Какой гостинец? — вежливо спросил Володя и оглянулся. Лучше б он не про гостинец, лучше б он сказал, скоро ли до середины моста доедут.

— Замечательный гостинец. Как приедет из лесу зимой, тут нам, ребятам, из карману — лисичкин гостинец. Хлеб мороженный.

— У вас что, хлеба не было? — спросил Володя, с тоской вглядываясь в небо.

Комсомолка, стало быть, не может интересоваться кавалерами? — допытывалась Антонина Алексеевна, повернувшись к маме, которая шла за телегой.

— Я кавалерами не интересовалась, — звонким голосом сказала мама. — Кстати, наш секретарь ячейки нас за это и не осуждал. Он сказал, каждая девушка мечтает выйти замуж, тут ничего плохого нет. — Она вдруг рассердилась. — Не мечтала я вовсе! Очень нужно было мечтать!

— Чтоб я так жил — не нужно! — подхватил черноглазый с палкой. — Это кавалерам нужно мечтать. А за что же вас всё-таки исключили?

Володя вытянул голову — где середина моста? И охота вспоминать про это исключение. Мама сказала, повернувшись к Антонине Алексеевне:

— За то, что кто-то написал в одной записочке «а ля». Наш секретарь сказал, что это буржуазный пережиток.

— Вот где бдительность! — вздохнула Антонина Алексеевна. — Идеолог! Вот уж кто жизни дает.

Интересно, почему Степан Сергеевич перестал его доносить рассказом про лисичкин гостинец? Может, обиделся, что Володя плохо слушал и всё время вертел головой? Но чего же обижаться — полный мост людей, и все думают про бомбежку, и смотрят на небо, и все ждут, когда же закончится мост.

— Паразит! К нему же в эту «эмку» черт-те сколько можно вещей напихать! И люди бы не мучились, — сказала мать настырного ребенка.

Сама она настырная. Прицепилась к этой «эмке». Может быть, там раненые едут.

По правую сторону от телеги бубнили поющие голоса:

— Если ты хочешь знать, это был первый цветной фильм. Не звуковой, а цветной.

— Но ведь там говорили?

— Говорили, потому что он был звуковой. Но не первый звуковой. А цветной-таки — первый.

Антонина Алексеевна сказала:

— Эрудия завидная, но смущают некоторые неувязочки с Крючковым.

Каждый про своё, и никто про бомбежку. Но ведь смотрели только что на небо, весь мост головами вертел.

Володя посмотрел вокруг. Никто не вертит головами. Кто молчит, большинство разговаривает. Шаркают подошвы. Неужели никто не думает о бомбежке? Ясное дело: думают только о ней. Просто взрослые затеяли какую-то свою игру.

Ездовой, боец Лагутин, извелся, глядя на Володю. Мается мальчонка. Лейтенант говорил, что его сына вчера чуть не убило бомбой, а потом он ночевал в привокзальном районе, где всю ночь бомбежка и обстрел.

Вон как крутится, что твое веретено — и на людей, и на небо, и назад оглядывается, и всё спрашивает, скоро ли середина моста. Середина-то уж скоро, только что за радость, доехать бы до конца. Не про мост с ним надо говорить, его бы надо отвлечь, успокоить, а он плешь завел какую-то про мороженный хлеб.

В деревне он любил рассказывать ребятам сказки. Складно получалось. Рассказывать он умел: обстоятельно, честь по чести. Как слушали! А тут не вышло. Оплошал Лагутин.

Володя снова оглянулся и почувствовал, что ему противно. Никто не оглядывается, только он один. Все разговаривают, он молчит. Словно назло кому-то. И Степану Сергеевичу нехорошо ответил. «У вас что, хлеба не было?» Грубо ответил. Как жлоб. Правда, они все взрослые, а он еще мальчик. Ну, а кто виноват? Настырный Дима ещё меньше, а ни к кому не пристаёт. Наверно, потому, что ничего не понимает. Хорошо быть маленьким. А может, наоборот, испугался? Что он там так тихо сидит за корзиной?

Володя повернулся, приподнялся, держась за корзину, и увидел: стриженный Дима со всей свойственной ему настырностью вытаскивает из корзины палочку.

— Эй, кончай это! — суровым голосом сказал Володя. — За это знаешь, как влетит? Твоя мама дерется?

— Дерется, только не больно, — сказал Дима, отдергивая руки от корзины.

Похоже, он не мамы своей испугался, а неожиданно возникшего Володю.

— Лезь сюда, — сказал Володя. — Давай, я тебя через корзину перетащу. Тут мирово. Степан Сергеевич про лисичку расскажет. Степан Сергеевич, можно его сюда?

Дима, маленький, стриженный, пристроился между ними и смотрел счастливыми глазами на Ромашку. Володя от умиления совсем размяк. Как хорошо, подумал он. Но тут же спохватился. Ничего себе хорошо. Вот-вот бомбить начнут.

Ромашка сильно махнула хвостом, и в тот же миг настырный Дима очень ловко ухватил её за кончик хвоста. Ухватил и сразу отпустил. Но Володя уже завёлся.

— Что ты за человек, не понимаю, — сказал он. — Хочешь, снова за корзину отправлю?

— А я буду палочки выдергивать, — строптиво ответил Дима и посмотрел на него вреднощими зелёными глазами.

— Ну и дурак. Сломаешь корзину, оттуда вещи высыплются. Не имеешь права. Корзина не твоя.

— И не твоя. Ты чего командуешь? И корзина не твоя, и телега не твоя. Тоже мне ещё хозяин! Крыса маринованная! У тебя папа лейтенант, а у меня был майор. Только его на границе убили.

Боец Лагутин Степан Сергеевич, 23-го года рождения, растерявшись, смотрел на ребят. На притихшего, красного, виноватого Володю, усиленно старающегося занять как можно меньше места. И на стриженного, ощеренного Диму. Малый был, как вылитый, сейчас похож на мать — оба дерганые, на всех кидаются.

— Вам в письме про это написали? — спросил Володя. — Полевая почта?

— Нет, мы сами видели, — ответил Дима. — Прямое попадание бомбой. Утром, когда война началась.

— На заставе, что ли, жили? — спросил Лагутин.

Дима кивнул и сказал: «Ага».

— Отец — майор, выходит, начальником заставы был?

Дима снова кивнул и, заикаясь, быстро проговорил:

— Он из дома сразу выбежал, а мы с мамой у окна стояли. И ничего от него не осталось, совсем ничего. — Дима сморщился, зажмурился и продолжал, уже не заикаясь: — Мама в сумочку чего-то напихала, меня на руки взяла и как

побежит. — И добавил: — Мы уже два месяца эвакуируемся. Никак от немца не можем уйти.

— Нас вчера возле вокзала тоже здорово бомбили, — сказал Володя. — А я такую книжку интересную читал. Про джунгли.

— Про чего? — спросил Дима.

— Про джунгли. Это лес такой огромный, там нет людей, одни жители. Ну, волки, медведь, пантера. А разговаривают, как люди.

— Они хорошие? — спросил Дима.

— Всякие. Хороших больше. Только я её дочитать не успел. Сперва уснул, потом стали бомбить, а после сюда побежали. Я тебе начало могу рассказать.

— Как это уснул, когда такая книга? — удивился Дима. — Я целую ночь могу не спать.

— Всегда?

— Нет, во время войны. Что же ты расскажешь-то одно начало? А конец мы как узнаем?

— Я тоже не знаю конец. Потом как-нибудь прочтем.

— Ну, давай, — пожал плечами Дима и спросил Степана Сергеевича: — Товарищ боец, может, вы её читали?

— Не приходилось. Мы, видать, все трое её потом когда-нибудь прочтем. А сейчас хоть начало узнаем.

Шаркали подошвы. Перебирала ногами Ромашка. Неподвижная «эмка» чернела впереди.

Плюхались, падая в воду, снаряды. То перелёт, то недолёт.

— Вот он, белый домик — середина моста, — услышали все радостный женский голос. — Мы местные, мы все тут знаем: как увидишь белый домик под зеленой крышей, значит, ровно середина.

Говорила это толстая женщина с толстой косой, которую Володя прозвал «бедная девочка». У них в семье все придумывали прозвища, даже бабушка, смущаясь: «Ох, скушение!»

— Ну, давай про свои джунгли, — сказал Дима, но Володя молчал. Он почувствовал, как где-то глубоко внутри шевельнулось беспокойство.

— Наконец! До середины дошли, наконец! — громко говорила женщина. — Солнце вон оно уже где... Ого! Ладно, главное, дошли до середины.

— Но! Куда? — прикрикнул вдруг Лагутин — Ромашка, высоко поднимая ноги и встревожено вскидывая головой, норвила прибиться к самым перилам и теснила двух любителей кино. Они примолкли. И все вокруг примолкли и чего-то выжидали. А женщина говорила, громко, радостно,

возбужденно.

— Когда ж вторую половину-то пройдем? До вечера хоть доберемся? Скорей бы вечер!

Володя видел: на них оглядываются идущие впереди. Он заметил: разговоры вокруг телеги затихли. И беспокойство, так противно шевельнувшееся внутри, снова шевельнулось, дольше и сильнее.

— Это сколько ж нам ещё идти? Это когда же дойдем? — Что-то неприятное слышалось в голосе женщины, неприятное, нетерпеливое, с подвывом, и Володя почувствовал, как то противное, что уже дважды шевельнулось в нём, рвется наружу, и при мысли, что оно прорвется, у него стали потными руки, и сделалось жарко, душно.

— Перестаньте! Хватит причитать! Что вы панику разводите? — злым голосом прикрикнула Володина мама.

А Димица добавила резко и сердито:

— Как не стыдно так себя распускать? Тут же дети!

— Дети! Я про то и говорю! Вдруг бомбежка, а тут вам и дети, и старики, мама вон — на телеге лежит, а мосту все конца нет, проклятому! — Женщина мотала головой, коса расплелась, по плечам болтались светлые волосы. Она подняла к шее руки, словно что-то душило её, и разорвала до низу блузку. — Нет конца проклятому! Проклятому! Проклятому! — закричала она пронзительно, таким странным, страшным голосом, что Володю ожег дикий, неслыханный ужас, и ему тоже захотелось закричать не своим голосом, вскочить, бежать. Куда бежать? Он сидел, по-прежнему не двигаясь, и сердце, словно бешеное, колотилось в горле, во всем теле.

Все теперь глядели на неё, и Ромашка норовила оглянуться, кося безумным испуганным глазом.

Очкастый уронил на землю рюкзак, его хромой приятель об него споткнулся, упал и не мог встать. Очкастый хотел ему помочь, но сзади напирали, и он тоже упал.

Лагутин, ощущая, как всё трясется в нём мелкой дрожью, чего никак нельзя было допускать, поскольку он тут среди гражданских один военный, взглянул на мальчиков — на позеленевшего Диму, у которого как-то чудно скривились губы, на Володю — у Володи были такие глаза, что Лагутин торопливо отвернулся. Что-то делать надо, подумал Лагутин, обязательно что-то надо сделать. Но что с ней сделаешь? Рот заткнуть? Арестовать? Ничего он с ней не может сделать.

Сзади жмут, двум упавшим не встать, наткнувшись на них, споткнулся кто-то третий, скоро там будет куча мала. Хорошо

ещё толпа не двигается быстро.

Впереди вдруг кто-то бросился бежать, и там сразу началась заваруха, и кого-то тоже сбили с ног. «Ужас! Ужас! Ненавижу! Проклятый!» — надрывалась женщина. Степан Сергеевич — его тоже колотила дрожь, она сейчас уже всех колотила — строгим голосом, громко и отдельно сказал:

— Гражданка! Я вам как боец Красной Армии приказываю: замолчите! Армия вас защищает: мост под охраной истребителей и зениток. Перестаньте сеять панику.

Сказать-то он все правильно сказал, но что же с ним творится — с такой силой накатила вдруг шальная мысль: сбросить к черту сапоги и в Днепр! Километр проплыть ерунда, а убьют, так сразу.

Никуда он, конечно, не прыгнул.

— О-ой! — вопила женщина. — О-ой, ужас! Истребители, говорит, охраняют, а фриц-то прилетал! И снова прилетит! Ужас! Мост этот проклятый!

— Милая! — окликнул вдруг её ясный, бодрый, что-то доброе суливший голос. Володя его даже не узнал. — Наклонитесь-ка к вашей маме. В темпе! Быстро! — Эти последние слова Антонина Алексеевна произнесла так властно, что женщина, замолкшая уже при первом слове, машинально и послушно наклонилась к лежавшей на телеге старушке.

И Володя, поразившись, как же это, когда все вокруг с ума сошли, можно говорить таким хорошим голосом, оглянулся на телегу, где сидела Антонина Алексеевна и лежала седенькая голубоглазая старушка-одуванчик, к которой наклонилась её дочка. Ему плохо было видно из-за вещей. Женщина нагнулась к матери, лица старушки он не видел, а только представлял себе, а Антонина Алексеевна протянула руку, словно хотела погладить старушкину дочку по растрепавшимся светлым густым волосам. «Ну, будет, будет», говорила Антонина Алексеевна, а женщина совсем уж тихим, каким-то вялым голосом отвечала ей: «Сейчас перестану. Я замолчу сейчас. Сейчас. Сейчас».

Лагутин тоже оглянулся. Он был намного выше Володи и больше разглядел.

— Гражданской войны участница — бабушка твоя? — спросил он Володю.

— Что?

— Я спрашиваю, бабушка твоя в гражданской, что ли, воевала? Именное оружие у неё?

— Да, — сказал Володя, ничего не понимая.

А женщина, уже распрямившись, шла рядом с телегой, и

лицо ее было сонным, и губы еле-еле что-то шептали. И те, что шли впереди, старались на неё не оглядываться. Лагутин соскочил с телеги, сунув вожжи Володе, и побежал туда, где упали их спутники, всю дорогу толковавшие о кино. Место это, возле самых перил, оцепили, взявшись за руки, несколько женщин и высокий рябой старик. Видно было — это он организовал оцепление. Раскинув длиннющие, как грабли, руки, он страшным, грубым голосом кричал, точь-в-точь возчик на ломовых лошадей: «Стороной обходи, стороной! Стороной, говорю тебе, мать твою! Геть отсюда: сказано вам — стороной!»

Лагутин кинулся поднимать упавших. Помогать пришлось только своим, тем, кто шел у телеги. Остальные вставали сами. У очкастого разбились очки и порезали лицо осколками. Он беспомощно махал руками, повторяя: «Минус четырнадцать, я же абсолютно ничего не вижу». А хромой лежал и не вставал. Его помяли здорово, одежда взмокла от крови. Когда Лагутин повел его к телеге, он сделал один шаг, вскрикнул и потерял сознание. Женщины молча сняли с телеги вещи и положили его на телегу. Он тяжело дышал. Близорукого с изрезанным лицом подвела к телеге девушка и сказала: «За краешек держитесь, так и дойдете. Только руку не отпускайте. А кровь скоро перестанет идти, у вас порезы неглубокие. Возьмите косынку». Она протянула ему выгоревшую крепдешиновую косыночку, и он прикладывал её все время к лицу одной рукой, а другой держался за телегу. Он шел рядом с приятелем, промакивая кровь с лица, а Антонина Алексеевна шла с другой стороны, там, где лежала седенькая хрупкая старушка, из-за дочери которой начался переполох.

— Ну, вы довольны? — спросила старушка Антонину Алексеевну. — Приятно вам, что вы так напугали своим револьвером бедную женщину? Вы получили удовольствие?

Голос её был слаб. Но сейчас, когда сняли похожую на сундучок плетеную корзину, все, кто ехал на телеге, оказались вместе, и у Володи уже не было такого чувства, что они с Лагутиным и Димой сидят по одну сторону стены, а остальные — за стеной.

Антонина Алексеевна тоже отвечала тихо. Тихо, хрипло, с появившимся невесть откуда оренбургским выговором.

— Ох, мать, не растравляй, — сказала она на ты, хотя говорила «вы» даже восемнадцатилетнему Лагутину. — Не думала я, что придется им, проклятым, ещё кого-нибудь пугать.

Но старушка не слушала.

— Это же так просто, — язвительно говорила она тихим комариным голоском. — Это же так просто напугать несчастную женщину, у которой нет никого, кроме старухи матери, полуживой старухи. Несчастную женщину, которая каким-то чудом вышла замуж в тридцать восемь лет, и не успели мы нарадоваться этому счастью, как она уже осталась без мужа, потому что весной он поехал в Киев на какие-то курсы и нашел себе другую. Разве её трудно напугать, вы себе представляете, какие у неё нервы. Ведь её жизнь была совсем не то, что у вашей красивой дочери казачки, у которой есть и муж, и сын, и мама с револьвером, и телега, и совсем нет нервов.

— Да замолчи ты, мать, без тебя тошно. Ясное дело, жизнь у твоей дочки не мед. Да ведь нервы-то у всех, можешь ты понять, у всех тут нервы, на чертовом этом мосту. У красноармейца, у мальчишек, у «казачки»... За что ты невзлюбила так её?

— Вас любить, наверно, надо, обожать, тех, кто револьверы к голове приставляют? И у вас, конечно, тоже нервы есть? Ваши, конечно, самые главные нервы?

— У меня, считай, их нет. От нервов моих одни шмотья остались.

— Шмотья шмотьями, а повадка такая, будто у вас не нервы, а дрит.* Раньше были казаки, теперь такие, как вы. — Старушка вдруг внимательно на неё посмотрела. — Кстати, откуда у кацапки казачка дочь?

«Какая я тебе, к черту, кацапка? — подумала Антонина Алексеевна, — мы казаки с допетровских времен», и сама подивилась, откуда выскочила вдруг эта неинтеллигентная мысль. В отличие от голубоглазой старушки, сохранившей память о погромах, ее мало беспокоил национальный вопрос.

— Что вы говорите, женщина, старая женщина? — с отчаяньем спросил близорукий, идущий по ту сторону телеги. — И где вы это говорите, и когда? Когда за нами по пятам идут фашисты, которые всех разделили по нациям и загоняют в гетто таких, как вы и я? Вам именно сейчас надо выяснить, кто кацап, а кто не кацап? Вот он лежит и истекает кровью, мой друг детства Гриша, и я не знаю, довезут ли его до конца моста. А если бы не эта кацапка, как вы говорите, вы представляете, что бы тут было? Растоптали только Гришу, а могли бы растоптать всех. И вашу дочку, между прочим, тоже. Я уважаю чувство матери, но сейчас оно сделало вас неразумной. Кацапка, казачка — на таком мосту

* Проволока (укр.).

это не разговор.

— Да уж, — проворчала Антонина Алексеевна, — разговорчики не в духе Коминтерна. За что, спрашивается, боролись?

Но близорукий не поддержал её. Он сказал неожиданно сухо:

— Я не знаю, за что вы хотели бороться, я только вижу: вы умеете так приказать, что даже обезумевшая женщина подставляет голову под ваш револьвер и делает то, что вы велите.

— Это я умею. Да наука не в радость — я, видать, не той породы. И из револьвера этого не стреляла пятнадцать лет.

Близорукий сказал задумчиво:

— Может, вы и не той породы. Кто вас знает, какой вы породы? Я, например, вообще не представляю себе, как это взять револьвер и приставить его к голове несчастной женщины, да к тому же на глазах у её матери. Правда, в результате вы спасли всё это множество людей, а я не смог спасти и одного. — Он нагнулся к раненому и прислушался. — Плохо дышит. Ах, какой это чудесный, деликатный человек. — Он заплакал, и слезы размочили слегка подсохшие порезы, и он снова стал промокать кровь крепдешиновой косыночкой в бурых мокрых пятнах. Он прикладывал к щекам косыночку и, плача, говорил: — Это же такая редкая деликатность. Он всё сводил на шутку. Даже сейчас выдумал, будто женщины везут с собой приданое, и тащил этот рюкзак, а ему нельзя нести тяжелое, у него костный туберкулез, и сразу же невыносимо болит нога. Он же потому упал, что его боль измучила, а теперь так дышит... мне все время кажется, что вот-вот он перестанет дышать.

Голубоглазая старушка поглядела на раненого и с беспокойством повернула голову туда, где сидели ездовой и мальчишки. Она сказала:

— Если, не дай бог, это случится, нельзя, чтобы дети узнали. Они такие нервные, все время ссорятся — этот, с границы, и ваш внук. Папу на его глазах не убивали, но я вижу: нервный ребенок. Даже если бабушка и мама рядом, от войны они не могут уберечь. Он был спокойный до войны? — спросила она Антонину Алексеевну.

Та ответила не сразу.

— Не знаю. Думаю, не очень. Он ведь не внук мне, мы второй день знакомы, — пояснила она, помолчав. — Вот приткнулась к чужой семье и присохла. А может, вечером в разных эшелонах поедем и кончен бал. — И добавила, понизив голос, совсем тихо: — Жуткое дело одиночество,

мать. Может, я здесь больше всех могу понять, откуда у твоей дочки нервы.

Спереди доносились голоса — двое мальчишеских и юношеский, окуающий:

— Как тебе рассказывать? Что ты за человек? Ты только про курочку-рябу понимаешь.

— Сам ты про курочку. Больше тебя понимаю. Крыса заморская. Как дам, так выскочит мадам.

Антонина Алексеевна сказала:

— А ещё говорят: «Дам в нос и выскочит красный матрос». Отголоски гражданской войны. Спасибо за память.

Она встретила тревожный взгляд старушки. Как видно, какая-то мысль не давала ей покоя. Приподнявшись, наконец, на телеге, она спросила Антонину Алексеевну, пытливо глядя в глаза:

— Скажите, если бы она не замолчала, вы стали бы в неё стрелять?

— Только этого не хватало. С ума я, что ли, сошла, в такой обстановке палить из нагана?

— Ты, Митрий, не путай, — окая, внушал Лагутин. — Багира не волчиха. Она эта, как её, пантера.

— Хорошо служивый разговаривает с детьми, — одобительно сказала Антонина Алексеевна. — Есть подход. Ему бы догадаться не «мужское дело», так называемое, выбрать после войны, а пойти в учителя... Если живым вернется.

Старушка божий одуванчик умиротворенно бормотала себе под нос. Ответ на мучивший её вопрос не только её успокоил, но неожиданно придал мыслям оптимистический крен: «Девочка так переменялась — помолодела, похорошела, её нельзя было узнать. Я всё плакала после того письма, но если подумать, эти три месяца — тоже великое счастье».

Люди утомились, прошаркав полтора километра. Вошли в притихший, неразговорчивый, усталый ритм. Даже когда снова налетели «мессеры», в их части моста было намного спокойней, чем во время первой бомбежки. Волновались те, кто недавно вступил на мост. А здесь устали не только от ходьбы, устали и от беспокойства.

Лагутин, поглядывая, чтобы не свалились с телеги мальчишки — оба клевали носами — думал, что когда вернется с войны (а когда это будет, никому не известно, похоже, к осени не управимся, как располагали сперва), попела, по всему видать, светлая его мечта — педучилище. Война большой разор принесла и трудно будет матери с

отцом учить его два года. Они и сейчас не молоденькие — он самый младший в семье. Правда, он слышал, что в ФЗУ учат какому-то труду. Что уж там за труд? Может он и без педучилища сумеет этому труду кого-то научить.

Антонина Алексеевна, стараясь не смотреть на Володину маму, думала, захочет ли ехать с ней вместе эта, в общем-то, добрая, но очень уж своенравная дамочка. «Небось скажет: на кой ляд она мне сдалась, старая базла, да ещё с наганом».

Володя видел сон. Темный подъезд в их киевском дворе. Ребята раскатнули железные ворота, и он летит на них, на тяжелых, лязгающих, железных воротах, как на паровозе летит. И вдруг, откуда ни возьмись, большой мальчик Андрей, хулиган и обидчик. «Слазь, козявка! — кричит. — Ещё раз тут увижу — убью!» Очень громко кричит, так громко, будто не он один, а много людей кричат.

Володя вздрогнул и открыл глаза. Вокруг все громко говорили. Ромашка стояла на месте. И все стояли. Ногами никто не шар кал.

— Перед концом всегда затор. Обычная вещь, — успокоил его Лагутин. — Минут через двадцать будем на твердой земле.

Ух ты, они подошли к концу моста. Вон он, берег, прямо перед глазами, домики, деревья. А солнце уже коснулось земли, значит, прорываться в эшелон им в темноте придется. Что в эшелон придется прорываться, Володя твердо знал. Это будет уже третий эшелон. Как-никак у него опыт.

Тот же опыт ему говорил, что в эшелон рано или поздно они прорвутся. Он устал за этот бесконечный день и мечтал, чтобы прорыв остался позади, и они все очутились, наконец, в вагоне. Мама поставит чемоданы, Антонина Алексеевна пристроит к ним свою корзинку. Он растянется на полу и уснет под тревожные голоса: «Почему стоим?» «Когда же отправление?» А проснется под стук колес. «Едем», подумает сквозь сон, перевернется на другой бок и снова уснет.

ПОЭЗИЯ

Юрий КАПЛУНОВ

«МЫ РАЗНЫЕ, В ЭТОМ И СИЛА...»

ПОСЛЕВОЕННАЯ МУЗЫКА

И будни как праздники были.
Заводы — гудками будили.
И мальчики нашей страны
В отцовых пилотках ходили
Лет семь еще после войны.

Играли в войну с колыбели —
И ненависть знали к врагу.
Калеки безногие пели,
Сшибая на водку деньгу.

Нет, ради Христа не просили
Прошедшие смертный огонь, —
Лишь руки их в горестной силе
Охрипшую мяли гармонь!

Им кланялись, в шапки кидали
И скомканный рубль, и пятак,
И чисто звенели медали
Заплаканной музыке в такт.

И каждый в отечестве житель,
И даже кто стар или мал,
Себя как народ-победитель
По праву сполна понимал.

Победно! — с утра воскресений
Из окон, распахнутых вон,
Гремел соучастник веселий,
Пирушек лихих — патефон.

Торжественный лет паутинок,
Такая же тихая грусть —
Что вот завершён поединок
Любви с нелюбовью, и пусть!

И с каждой новой осенью трудней
Унять внезапный холодок по коже:
Их столько было — долгих и погожих,
Что всех теперь и не припомнить дней.

И столько солнца приняла земля,
Что всласть и в срок в круговороте года
Зачать поспела и взрастить природа
И певчих птиц, и травы, и поля.

Окрепла возле речки детвора,
Привыкнув жить всегда на свете белом,
Добро запомнив благодарным телом,
Умом понять — потом придет пора.

И все стоит последнее тепло.
Сияет осень отраженным светом.
Когда все это было? — Прошлым летом.
Цело, кипело, было и прошло.

КАТОК

Кружащийся диск полутьмы,
Озвученный пением стали!
Каток, мы твоими детьми
Остались, остались, остались.

И годы раскручены вспять,
И это — доступное средство
За мокрую варежку взять
Свое позабытое детство.

Ах, сердце, постой же, не трусь!
И сладкое вдруг ожиданье:
Сейчас я ... сейчас я решусь
Впервые назначить свиданье.

* * *

Неотразимо, как ночной звонок,
В мой сон вошла та женщина лесная:
По имени её еще не зная,
Я встал навстречу, обронив кивок.

Тек родниковый голос... И дожди
Ложились в стороне голубизною,
И становилось холодно в груди,
И губы запекались вдруг от зноя.
Был радостен листвяный шелест рук,
Но старая-престарая примета
Напоминала: с увяданьем лета
Еще наступит время для разлук.
Упрек ли был в её лице чудесном?..
До осени я видел этот сон:
Звонил как будто ночью телефон,
И пахло в доме лесом, пахло лесом...

В АРМИЮ

Перрон, неровный строй ребят,
Все так похоже, так знакомо:
Еще гражданские — стоят
Перед бывалым военкомом.
Среди торжественного дня
Он по-отечески невесел.
Уже отхлынула родня
И ждать настроились невесты.
В эпохе нашей — щит и меч,
И год от года в новой силе
Её бессонницу стеречь
Уходит молодость России.
Гармошка, смех, табачный чад.
Вагоны трогаются плавно.
И молча матери кричат,
На сыновей утратив право.
Россия-мать, твои сыны!
Твое веление простое
И это — искони святое:
"Служите! Не было б войны..."

* * *

Уже изобретен велосипед.
Уже приобретен в универмаге.
Со странным чувством страха и отваги
В седло садится мальчик. И вослед

Тем осколком ранило навывлет,
И навывлет — двери заодно.

Выжили — душа осталась в теле.
Выжили потом еще — на льду
Ладожском, расстрелянном, в апреле —
У страны военной на виду.

Уместились вещи в одеяло.
Не вместиться было той беде.
Будто вся дорога до Урала —
По колеса в ладожской воде...

Я родился. Жили не тужили.
А году в шестидесятом мне
Одеяло новое купили
И почти забыли о войне.

Чтоб война не помнилась упрямо
И сыновним просьбам вопреки,
Одеяло старенькое мама
Раскроила на половики.

Арсен ТИТОВ

СЕНТЯБРЬ

Маленькая повесть из сборника
«Повести об ушедшей армии»

1

Вот что можно сказать о Сане.

Он снова увидел во сне липы. Стволы их тускнели какой-то мезозойской грязью. Он знал, что это липы. И он любил липы. Но он всегда отмечал, что их кора имеет цвет засохшей мезозойской грязи. Он, было, выставился к ним. Но вдруг под ними загалдели. Он остановился и постарался понять, кто и о чем загалдел. Различить, однако, ничего не смог. А проснулся — и в самом деле около соседнего дома нарочно громко, до срыва глоток, ржали и кричали. Он подумал, что так могут ржать и кричать только русское молодое дурье и русская пьянь, потому что ни то, ни другое никогда не получают отпора.

Он спал в балконной лоджии. Уже было по ночам холодно, уже ложились заморозки. Но он открывал окна, стелил на пол матрац и укрывался расстегнутым спальным мешком. В теплые ночи он укрывался только простынкой. Бывало, донимали комары. Он укрывался с головой и оставлял наружу лишь нос, так как с детства не мог переносить спертого воздуха. Комары в последнее время быстро мутировали. Они научились летать бесшумно и по непредсказуемой траектории, как моль. Но и при своей мутации они почему-то выставленный из-под простынки его нос игнорировали. Признание его объектом, достойным внимания, наверно, откладывалось до следующего этапа мутации.

От глумливого галдежа молодого русского дурья Саня проснулся и прежде раздражения засек, что галдели у соседнего дома, а не под липами. Он встал и поглядел вниз. В темноте угадались семь смутных пятен. Семь жлобов в четыре часа утра упивались своей безнаказанностью. Под липами — не во сне, а на самом деле — не менее десятка

добрых молодцев, до того молчавших и, вероятнее всего, кого-то слушавших, вдруг враз возмущенно загалдели, но, как по команде, смолкли. И он им за их галдеж был до сих пор благодарен — потому что до сих пор мог видеть липы и вообще до сих пор мог видеть сны. Ну, а эти семь жлобов вызвали желание взять что-нибудь легонькое типа «малая саперная» и вежливо попросить если уж не разойтись, то хотя бы примолкнуть.

Но ничего подобного Саня не сделал, а снова улегся.

И проснулся он во второй раз от того, что выпал иней. Он выпал к утру, первый в эту осень, слабенький и несмелый. Чуть высветлило солнце, иней ушел, вернее, тут же улегся, но уже обильной росой. И сам он слабенький и робенький, то есть несмелый, и его любые, а не только обильные, последствия обычно обходились очень дорого. Робость его обращалась безжалостностью. Он робко падал — а им приходилось сидеть и ждать. Им приходилось ждать, пока солнце съедало его без следа. Иначе он оставлял их след. А этого им — ноздрь на вывих — не было надо. Им вообще было надо пролететь птичкой, проползти муравьем, самим упасть инеем и на солнышке обратиться в облачко. Такая у них обычно была задачка — все увидеть и все отметить, а самим при этом остаться невидимкой, то есть птичкой, муравьем, облачком.

Наверно, от шороха пришедшего инея Саня снова проснулся, посмотрел за окно и, уж коли проснулся, не стерпел шагнуть в еще темную комнату и с любовью ее оглядел. Скупо обставленная и не совсем привлекательная для взыскательного или, наоборот, нечуткого глаза, квартирка его была вполне замечательная, или, по выражению друга Кости Кравца, отличная и, можно сказать, даже удовлетворительная. Квартирка Сане нравилась. И нравился ему последний, шестнадцатый этаж с воробьиной семьей в стрехе над лоджией. В лифте, когда он нажимал кнопку своего этажа, часто удивлялись и даже, кажется, порой смотрели на него с сожалением, мол, вот невезуха человеку, ему — на шестнадцатый! А порой и спрашивали, мол, как там, на шестнадцатом, и при этом, конечно, думали, что там плохо. Он отвечал оценкой Кости, мол, на шестнадцатом — очень даже отлично и, можно сказать, даже удовлетворительно. И ведь на самом деле, на шестнадцатом было отлично, потому что никто сверху не стучал, никто сверху не заливал водой, и вообще там было тихо, как в лесу, в поле, то есть в горах, как на задаче, пока не зашумели боестолкновением. На задаче в горах известно — кто выше,

тот барин. Правда, такого барства лучше было бы не знать. Лучше было бы сидеть на равнинке и контролировать ее с какой-нибудь кочки. А горное барство — это, да вот как сказал один служивый поэтической строкой: «Пехоту высадили на три сто, пехоте надо на четыре триста». Вот на такое барство сподобиться можно было только от тупого желания выжить, которое, кстати, — не барство, а желание — тупело на каждом шаге, и грохался, бывало, такой барин в судороге, остатком глотки выгалкивая из себя что-нибудь типа: «Все!.. Лучше здесь!..» — то есть барин изволили предпочесть сдохнуть на месте и тотчас же, нежели хотя бы пошевелиться.

В третий раз Саня проснулся по-барски, в семь часов. Он с привычной любовью обвел комнату взглядом, в ванной окатил себя водой едва не со льдом, побрился, поотпичивал подбородок и повтягивал щеки, несколько отмечая появившееся толстомордие. Потом он постоял над тазом с бельем — замочить или не замочить — и замочил. А потом сварил картошку, заправил ее брынзой, майонезом, зеленью, пряностями и перцем, посожалел, что с утра нельзя заправить чесноком, позавтракал и уселся на диван, чтобы, так сказать, в брюхе улеглось. Времени было. И он посидел просто так, попялился взором по квартирке, послушал тишину. У двери он снова оглядел квартирку, взглянул на заоконные Змеиные горы, разной дальностью вершин слитые в единую синесизую змеиную полосу.

— Ну, до вечера! — махнул он всему рукой и вдруг признался: — Сегодня у нас с Женечкой первое свидание!

На тринадцатом или двенадцатом этаже в лифт вошли двое насуспенных людей — муж и жена. Он подождал, когда они поздороваются, не дождался и поздоровался сам. Они не шелохнулись. Из лифта они вышли первыми. «Явно я им испортил настроение!» — подумал он. Этак было каждый день по сто раз. Он здоровался, но ответ получал редко. С детства он освоил, что первым здоровается младший со старшим, мужчина — с женщиной, идущий — со стоящим. И никак он не мог освоить, почему на его приветствие неприязненно молчали даже большинство соседей. И каждый раз он на секунду раздражался.

Цветы у подъезда молодцевато таращились на солнце. Им, наверно, казалось, что иней — совершеннейший пустяк и стоит только перетерпеть ночь да дождаться солнца. Он на миг по логической связи от инея к следам, вспомнил липы и в который раз за утро подумал: «Или мы прохлопали их охранение и нам дико повезло, или их охранение прохлопало

нас, и нам опять дико повезло, а ведь меня, дурака, ну прямо потащило под эти липы!»

— Вот и вы, — сказал он цветам, — этак же прохлопаете! — а что прохлопают цветы, он не сказал, так как и без того было понятно, что они прохлопают заморозки, хотя по отношению к цветам такое обвинение было не справедливым, ибо хлопай цветы не хлопай, а заморозки все равно придут.

Так язычески разговаривать со всем, что ни встретится, он тоже научился с детства. И будто эти разговоры ему помогали. Будто при этих разговорах ему что-то приходило такое, что не пришло бы, если бы он не разговаривал, будто то, с чем он разговаривал, если уж не открывало ему тайну, то хотя бы предупреждало, и ему оставалось только вчувствоваться в эти предупреждения. На самом деле, конечно, ничего такого не было. Однако все равно было приятно думать, что такое было.

2

До офиса на Пушкинской ходьбы было час десять. Транспортom, если без задержек, обходилось в полчаса. А с небольшими задержками, когда какой-нибудь — тут Саня обычно употреблял не совсем печатные эпитеты — когда какой-нибудь, мягко выражаясь, эгоистически настроенный водитель вставал поперек трамвайных путей с надеждой въехать во встречный поток, и его приходилось пережидать, тогда хорошо было, если укладывались в сорок минут. Не совсем печатные эпитеты вполне имели место быть и даже обращаться в совсем непечатные, когда этот эгоистически настроенный водитель вставал на трамвайные пути так ловко, что перекрывал или донельзя суживал проезд другим водителям. И, объезжая его, другой водитель, не обязательно эгоистически настроенный, вдруг застревал тоже как-то так ловко, что загораживал остаток проезжей части. А около пристраивался третий, пятый, десятый. А там какая-нибудь длиномерная фура вдруг из-за этого перегораживала вообще весь перекресток, а там перед ней застревал встречный трамвай, за ним выстраивался следующий — и начиналось. На дороге все прекращалось, а в трамвае начиналось. В трамвае тотчас начинались звонки с мобильных телефонов, и летели во все концы штампованные извещения: «Я в пробке, застрял в пробке, тут пробка, Таня, подстрахуй, Маня подожди, Вася задержи, неизвестно, когда буду, тут такая пробка!..» Конечно, его все это раздражало.

Но он терпеливо сносил. Только про себя говорил:

— Ну, почему, из-за одной сволоты должны страдать сотни людей! Да издать закон, по которому трамвай имел бы право таранить на трамвайных рельсах любую машину этак слегка. Протаранил слегка одного, протаранил второго — и никто больше трамвайных путей не коснулся бы. Ведь все так просто! И не будут сто человек страдать из-за одной, мягко говоря, сволоты.

Саня бы ходил пешком. Ходить ему было сверх чем привычно. И эти час десять его бы только бодрили. Но уже стала поселяться в нем какая-то инерция гражданской жизни, какая-то этакая городскость, этакая урбанистость, этакая вальяжность, когда вдруг привычнее ставало полезть в транспорт и стоять и париться в этих самых пробках. Хотя термин «париться» к поре отправления его на службу никак не подходил. Его остановка была первой после конечной. И приходил он на нее, когда, так сказать, работный люд уже слынывал. Трамваи приходили практически пустые.

Сегодня вместе с ним в вагон вошли три иногородние девчонки лет по семнадцати и уселись втроем на одно сиденье. Их возраст и иногородность он определил по их первому же вопросу к кондуктору. Они спросили, доедут ли до политехнического института, то есть ныне университета. А это обозначало, что они иногородние и только-только поступили учиться.

Сидеть втроем на одном сиденье им оказалось неловко, и одна встала. Была она совсем маленького ростичка, чернявенькая, круглолице-узкоглазенькая, толстоватенькая и криво-коротконогенькая. Саня скользяще, сверху вниз, от лица к грудям, от них к талии и от нее к ногам, как это обычно делают мужчины, оглядел ее и даже засмурел. «Ну, вот как она выйдет замуж! Влюбится — и будет страдать. А замуж не выйдет!» — в своей смуре подумал он. Она тоже посмотрела на него и тоже скользяще, но не так, как он, а скользяще мимоходом, без какого-либо интереса, статистически, отмечая лишь то, что вот-де сзади сидит старый дурак и не уступит женщине место. Старым дураком мужчины в сорок лет не становятся даже для семнадцатилетних. Но он почему-то прочел в ее статистическом взгляде именно это. Хотя — если она взглядом что-то говорила, значит, взгляд был далеко не статистическим, и Саня, выходит, ошибался.

— Короче, — отвернулась к подружкам чернявочка, или как ее назвать для образности, — короче, я в магазин пришла, заняла очередь и побежала в другой. Сюда прихожу, такая,

встаю, а меня какая-то телка не пускает: ты чо наглая такая? — Я говорю: я занимала! — Она не пускает. Я ей локтем дала и встала.

«Попранная справедливость была восстановлена!» — с улыбкой сказал себе Саня в полной уверенности, что ничуть не стало с восстановлением справедливости, иначе незачем было бы вообще начинать рассказ, который вот так бы закончился.

— И чо? — спросили подружки.

— А ничо, — сказала чернявочка и смолкла.

«Не правда», — отметил Саня насчет отсутствия продолжения.

— Ничо, — сказала чернявочка. — Она, такая: ты, типа, чо, где родилась, что у тебя такие манеры? — А я ей: там! — чернявочка вместо этого мало что-либо определяющего местоимения назвала аръергардную, часто бывающую изящной и привлекающей мужской взгляд часть женского тела.

— Да ты чо, Райка! — чувствуя позади себя Саню, то есть, по их предположению, сорокалетнего дурака, смутились подружки.

— А чо, там, говорю! — снова назвала чернявочка тот женский аръергард, который, кстати, у нее самой был далек от изящности и привлечения мужских взглядов.

— А она? — хоть и смутились, но не смогли удержать любопытства подружки.

— А она: оно и видно, — говорит. — А я, такая: а ты чо, думаешь, ты в ... родилась!

«Оп!» — сказал Саня и вдруг заменил название того места, которое чернявочка определила своей неожиданной сопернице для рождения, и которое, собственно, для этого и являлось единственно предназначенным местом, на полинезийское слово «аа», услышанное от эрудита товарища Че, прапорщика Суркова. И у Сани слова чернявочки вышли так: «Ты думаешь, ты в «аа» родилась? А вот ...» — и опять для обозначения той части мужского тела, которая совокупно с вышеназванной частью женского тела тоже имеет отношение к рождению детей хотя бы на первоначальном этапе, Саня употребил полинезийское слово «уу», отчего слова чернявочки у Сани вышли так: «А вот «уу» тебе! Ты вообще выкидыш! Тебя вообще в ... нашли!» — сказала чернявочка и, конечно, назвала не то место, где обычно появлялись на свет дети, то есть назвала она не капусту в огороде и не аиста в небе, а назвала она продукт, исторгаемый аръергардной и в данной ситуации не

обязательно изящной частью тела, в разных слоях общества именуемый по-разному — кто-то называет его стулом, кто-то продуктом пищеварения, кто-то шлаковым продуктом, а кто-то вот так, как чернявочка.

— Ой, Райка! — сказали подружки.

И он тоже сказал: «Ой, Райка, молодец!»

— А чо, — сказала чернявочка. — Одна телка стала звонить моему парню. Прикиньте. Я, такая: типа, ты чо, оборзела? — Она: а чо, он твой, что ли? — Я: мой и отвали, а то тебе ууево будет! — и опять чернявочка, сказала не полинезийское, а довольно русское слово, в иносказании обозначающее плохие последствия.

— И чо? — опять спросили подружки.

— Ай-да. Потом я ей зубы выбила и башку разбила, — сказала чернявочка.

— Да ты чо, Райка! — на миг ужаснулись подружки, а он сказал: «Наш кадр!»

— Она сама с бутылкой полезла на меня, — сказала чернявочка. — Я бутылку отобрала и говорю: не умеешь ни ... — ну, то есть «ни уу», — не умеешь ни «уу», дак я тебя научу! — этой же бутылкой ей по зубам дала, а потом по башке!

«Вот так молодец!» — опять мысленно сказал Саня и подумал, что ни он сам, ни кто-либо другой ни за что не оборвет чернявочку, не пристыдит, не оттрешлет за ухо, что никто никогда не даст отпора русскому молодому дурью и русской пьяни.

3

А когда вышли с задачи, — это Саня вспомнил после замечания насчет дурья и пьяни, — когда вышли, и он повел группу косым и пьяным от усталости, но все же строем, сам — замыкающим, неожиданно на лесном подъеме из оврага ткнулись носом в генеральские лампы. Саня только-только поднял глаза от носков сапог к голове колонны и хотел снова упереться глазами, как клюкой, себе под ноги, — а нет! глаза уперлись в генерала и торчащую за ним из мотора «уазика» солдатскую задницу. Саня задницу проигнорировал, а к генералу глазами прямо прилип. И ему подумалось сначала, не уснул ли он. Потому что такую картинку, какую он увидел, наяву никогда не увидишь, а если увидишь, то перекрестишься. Ведь они вот-вот вышли с задачи. Да нет, не это. Они тащились, а вернее, каждый на трех точках мотался по грязной лесной овражине среди цепких и сверху

нависающих здешних бесконечных кустов, обрыдлых своей непроницаемостью до желанья выжечь их «шмелями» или, по крайней мере, при невозможности выжечь, смачно харкнуть в них — и потому именно смачно, что рот в отсутствии слюны расперло железобетонным коробом, а в башке раскорячилось видение всего, что имело отношение к влаге — даже этот смачный харчок. Они тащились, уже потеряв от усталости всякую осторожность, прикрываясь только одним понятием, что они где-то в расположении своих, совсем, кстати, в этом не уверенные, но уже махнувшие на все рукой. И вдруг среди оврага, на подъеме, по какой-то причине, ну, просто галлюцинацией всторчал генерал при полном параде, то есть при лампасах, кителе и фуражке с кокардой. И пока Саня смыкал и размыкал веки в старании определить, не сон ли, не мерещится ли, пока он тягуче ворочал в мозгу, что это и не сон, и не генерал, — а обыкновенная подстава, то есть засада, пока он разевал скоробившуюся свою пасть, чтобы крикнуть шедшему впереди колонны Грише о засаде, Гриша поравнялся с генералом, приостановился, как бы всего лишь запнулся, и пошел дальше.

— Аэ! — начал, было, Саня кричать Грише, но именно это же он услышал от генерала.

— Аэ... э... боец! — окликнул Гришу генерал.

Гриша лишь дернул задом, удобнее пристроил заплечный мешок и оружие. Но Сане показалось, что Гриша задом дернул глумливо, и обмер — вдолбленную субординацию никуда не выкинешь. Но обмер он так устало, так равнодушно и немошно, что и сам почувствовал ложь своего испуга. Догадка о засаде от дерганья Гриши стерлась сама собой, и на ее место вновь угнездилось осоловелое, старолошадиное равнодушие: усталая лошадь легла в борозду и ты над ней не ахай... — бородатый армейский фольклор с некоторым продолжением, на которое уже сил не было. И он подумал, смыкая веки, что генерал ему примерещился.

У генерала же, видно, шок от Гриши прошел быстрее, чем у Сани от самого генерала.

— Боец, ты кто, какой части? — услышал он генерала и снова поднял глаза.

Генерал, хотя и растерянно, но уже навис своей громадной фуражкой над Добрей, сержантом Добрыниным. Но того мешок потащил в сторону. И Добря миновал генерала.

— Стоять! — было крикнул генерал, но вдруг схватил за рукав следующего за Добрей снайпера Шурупа. — Боец! — схватил он Шурупа за рукав.

Шуруп кое-как поднял голову, вывернул рукав и прошел мимо. Генерал явно покрылся испариной, если и без того не потел в своих лампасах и кокарде на разгорающемся солнце. «Что-то здесь не так!» — наверняка забулькало у генерала. Хоть тот же армейский фольклор указывает разницу между лейтенантом и генералом — лейтенант долго достает, а генерал долго ищет — но ведь нельзя полностью отрицать, что у генералов вообще в связи с этой вводной ничего не было. Ведь долго ищет — это значит, есть что искать, или, по крайней мере, он на это надеется. И Саня даже в своей непреходящей лошадиной дреме на ходу увидел — генерал впал в давно не посещавшее его недоумение. Он даже наверняка покрылся испариной. «Ищет!» — только и определил за генерала Саня, а чего ищет, того у Сани в голове, в его единственной на этот час извилине, уже не уложилось.

А генерал хватил шедшего за Шурупом товарища Че, прапора Чеку. Как-то всегда так получалось, что Чека находился не на своем месте. Не в том плане находился он не на месте, что не на месте. В этом плане Чека фору давал пятерым матерым бандерлогам с офицерскими погонами. В этом плане Чека всегда находился на месте. А в том плане был он всегда не на месте, что... — одним словом, хорошо, что он был прапором, и карьере ему не надо было делать. В общем, прапор Чека шел четвертым, и генерал вцепился в него.

— Боец, я спрашиваю, какой ты части! — кажись, даже взвизгнул генерал.

Чека понуро сделал шаг в сторону, обогнул генерала и снова встал в колонну.

— Мужик, иди ты на ..., а! ну что ты пристал! — услышал Саня в густой и пряной духоте оврага ровный и немного просящий голос Чеки, называющий генералу не зашифрованный под Полинезию, а прямой русский адрес.

4

В это время приспела остановка «Профессорская» — не в овраге, разумеется. Девчонки суетливо потащились за чернявочкой к двери..

Он посмотрел на всех троих сверху — пехоте на этот раз хватило три сто! — увидел, как обе девчонки мышками суетились в старании поспеть за чернявочкой. Она же легко буравила толпу, и черная с густым жестким волосом ее голова будто служила ей тараном. «А ведь выйдет замуж!» —

подумал он и еще подумал, что, пожалуй, муж будет у нее под пятой и будет подпяточностью доволен.

На углу Гагарина трамвай немного поперепихивался в пробке. Саня снова подумал о своем законе слегка таранить автомобили на трамвайных путях. Пока перепихивались и дергались, по сантиметру завоевывая рельс, позвонил друг Костя, попросил купить «Областную газету» — что-то там его заинтересовало, а купить было не с руки.

— Куплю, если хотя бы к вечеру доеду до службы! — сказал Саня.

Но на удивление он доехал до своей остановки быстро и едва ли не в досаде буркнул:

— Ну, не к добру!

Тротуар около здания бывшего «Облэнерго», а теперь как бы даже некоего вертепа различных контор, конторок и подконторниц, как всегда, был перегорожен. «Перманентно перегорожен!» — отметил Саня любимым словом товарища Троицкого. «Лозунг перманентной революции не должен сходить со злобы дня!» — нечто к такому, по крайней мере, по словам ученого Чеки, призывал товарищ Троицкий, то есть призывал революцию творить беспрестанно. Так же перманентно, будто польский легионер, тротуар был опоясан бело-красной лентой. Перманентно на фасаде несчастного здания что-то перекраивали, перекрашивали, перевешивали, перебивали, переносили, перевыламывали и перезаделывали. Постоянно поперек тротуара и враскоряк стоял автокран, или елозила по фасаду автовышка с корзиной, в которой, будто агээс, автоматический гранатомет, долбил отбойный молоток, а с земли на корзину задирали головы штук пять руководящих работников в галстуках и штук пять работяг в касках и униформах с лейблами своей фирмы. Они совсем не смотрели ни на кого вокруг — только вверх. Их старались обойти. Но в оставленном проходе этого сделать было невозможно. На них натывались. Их толкали. Им высказывали. Но они ни на кого не обращали внимания. Они смотрели вверх. И в целом было непонятно — зачем они здесь и зачем они смотрят вверх. И было непонятно, что именно там менялось, что и кого там не устраивало. С тротуара этого не было видно. Не было этого видно и с проезжей части проспекта, и с противоположной его стороны, так как кренистые рослые липы закрывали здание до четвертого этажа.

А они тогда не удержались. Это непрофессионально. За это с должности снимают. Но они не удержались и на обратном пути в той купе лип поставили три растяжки. Так молча кого-то слушать и так скрытно вести себя, что Саня едва не выперся к этим липам, а потом вдруг возмущенно и враз загалдеть и тут же, как по команде, смолкнуть — так сможет только воинское формирование. И на обратном пути Чека не удержался поставить там три растяжки. Обратно возвращаться пришлось тем же местом не по своей воле. Это простилось. А про растяжки он не стал докладывать. Не такая уж сугубая организация у нохчей, чтобы после подрыва на тех растяжках вдруг спетрить, что была тут группа глубокой разведки, и теперь все надо передвигать, перепрятывать, переиначивать. Если и подорвались, то наверняка свалили на кого-нибудь из своих же да еще устроили разборку, да еще маленько постреляли друг в друга, да еще до десятого колена затаили друг на друга злобень. Чека — умный!

Около красно-белой ленты в толчее и около этих, с задранными башками в касках и галстуках, Саня вспомнил, что обещал Косте купить «Областную», и пошел на почтамт. В вестибюле почтамта полненькая светленькая газетчица ему улыбнулась. «В меру полненькая!» — подумал он и тоже улыбнулся.

— Вот посмотрите, сколько у меня газет, и все свежие, и все интересные! — сказала она.

— Интересные, как вы? — отважился он на легкую пошлость.

— Во много раз интереснее! — сказала она.

А он почувствовал, что пошлость прошла, то есть комплимент газетчицей был принят. Ну, да и пошлость ведь была все-таки легкой.

Он взял два экземпляра, еще раз улыбнулся, вышел на крыльцо и только тогда посмотрел на дату, да и то случайно.

— Э! Барышня! А ведь!.. — поспешил он к газетчице.

— Что? — во внимании свела она светленькие свои бровки к переносью.

— Да ведь вот! — показал он на дату каких-то едва не весенних пор.

— Ах! — вскинула бровки и округлила глазки светленькая газетчица, посмотрела остальные номера газеты и еще более вскинула бровки: — Ах! — и даже во что-то вроде испуга впала, и даже в этом испуге взглянула на него, дескать, что же он о ней подумает! «Ах, мошенница! — подумает. — А

еще такая светленькая и полненькая – в меру!» – подумает.

Он это в ней увидел, про себя заулыбался и вспомнил чернявочку, ее, так сказать, безыскусный и незлобивый рассказ. И он снова вспомнил Чеку, вспомнил его ровный и немного просящий тон: «Мужик... иди ты на... а! Ну чо ты пристал!» – Потом, когда ржали, когда нашли силы ржать, Чека, прапор Чека, товарищ Че, Божьей милостью бандерлог, но умны-ы-ый, не веря ржачке, спросил:

– А чо, правда, что ли был генерал?

– Да ты чо, товарищ Че, совсем, что ли, спал по дороге?

– едва не в голос спросили его.

– Ни хрена себе! Я думал, засада. А воевать уже нет сил!

Ну и послал его. Все равно ведь было подыхать! – признался Чека.

И пока светленькая с испуганными бровками газетчица, оставив его караулить товар, побежала выяснять, каким макаронном ей подсунули газеты времен едва не царя-батюшки, подошла или, вернее, при-ко-ма-на-ла, кажется так у них, у англосаксоподражателей, прикоманала всхолённая гелз с, как ей самой казалось, иностранным взглядом, в котором если что-то и должно было быть прочитываемо, то только название фирмы, которой она служила.

– Мужчина! – строго, как ей казалось, но на самом деле с какой-то претензией раскрыла она якобы фирменные губы.

Саня усмехнулся, правда, про себя.

– Мужчина! – снова сказала она, положив, что он не услышал. – Мужчина, не могли бы вы за подарок ответить на несколько вопросов?

– Нет, не мог бы, – сказал он.

– Это за подарок. Всего десять минут, и вашей жене будет подарок! – сказала она.

– Да вот я караулю! – попытался он отвязаться.

– Я подожду, – сказала она.

И действительно она осталась ждать. Она чуть отошла в сторону и бесстрастно стала смотреть только в одну точку, явно видя себя со стороны принадлежащей только фирме. И потом она привела его в кабинет здесь же, на почтамте, усадила напротив и с фирменной бесстрастностью стала ему задавать вопросы о каких-то иностранных карамельках, которые он отродясь не брал в рот да, собственно, и не собирался в свои мужичьи сорок лет брать.

– Вы употребляете вкусные и сочные конфеты фирмы «Тыр-быр фак ю»? – спросила она и показала ему упаковку.

– Нет! – сказал он.

— А хотели бы вы употреблять вкусные и сочные конфеты фирмы «Быр-тыр ю фак»? — она снова показала упаковку и далее, совсем не обращая внимания на его постоянные отрицательные ответы, спрашивала его таким же, как и у чернявочки, нерусским языком, нерусскими агрессивными предложениями уже без знаков вопроса, уже не в качестве предложения — в смысле: предлагать — а в качестве жесткого утверждения.

— Я бы съел вкусные и сочные конфеты фирмы «Тыр-быр куда-то там гоу» целую упаковку! — говорила она за него.

— Нет! — говорил он.

— Я бы съел вкусные и сочные конфеты фирмы «Быр-тыр гоу куда-то там» целую упаковку! — говорила она название следующей фирмы.

— Нет! — говорил он.

— Я бы съел... — как пресс, давила она.

— Я бы вообще ничего никогда не съел! — не выдержал он и прибавил, что не стал бы есть именно с этой минуты.

Она на него не взглянула. Она снова сделала пометки в своих опросных листах и перешла к другому утверждению, на которые он так же отвечал словом «нет» и по окончании опроса не сдержался спросить:

— А что, девушка, как-то по-русски эти вопросы нельзя было построить?

Спросил в пустоту и пошел, не взяв подарка. Она вскричала ему вслед: «Мужчина! Возьмите подарок!» — он же только отмахнулся, и хорошо, что не сказал того, что сказал Чека генералу. А потом вдруг ее пожалел: может быть, она простая русская девушка, смешливая и кокетливая, а поступила в эту вкусную и сочную фирму работать — и была вынуждена ломать себя.

6

Проспект в этой части был широк, а светофор на зеленый свет скуп. Пешеходные народы по этому обстоятельству вели себя, будто новобранцы первый раз в поле. Бежали они через проспект беспорядочно, рвано, мешая друг другу, в лихорадке не успеть. Водители пешеходной зоны не видели, ломили через зебру с удвоенным удовольствием. Это тем более сбивало пешие народы в кучу, то есть еще более мешало. «Бараны! Держитесь правой стороны! Вот так же вы себя ведете за рулем!» — думал Саня и ему свербило умотать в лес, в поле, то есть в горы, на задачу, где, как

говорил Костя, любая улица в два конца твоя. «Если даже на ней дорожные знаки расставляют воины ислама!» — прибавлял Саня.

Вместо гор и задачи, однако, он перешел от почтамта на свою сторону. Народу улица Пушкинская против других улиц содержала заметно меньше, как бы располагалась не в центре города, а на сельской окраине. Только около фруктового киоска с выставленными прямо на тротуар картонными коробками с яблоками кучкой, или, сказать, купой стояли несколько женщин из соседних контор. И вдали, около бывшего дома профсоюзов, черными сожженными бэтэрами громоздились на тротуаре чьи-то шибко крутые авто. Проезжая часть улицы была забита транспортом. Где-то поставить машину, или, по-нынешнему, припарковаться, было просто невозможно. И в бакшише был тот, кто приезжал с утра пораньше. Так сказать, кто первым сел, тот все и съел. И помнится, одно время улицу взяли пасти ушлые ребятки — то есть взяли за стоянку брать деньги. И помнится, он однажды попал к ним под раздачу. Бригада только что перебралась из ныне суверенной республики сюда и обустроивалась. Он приехал по делам в местный штаб ведомства товарища Шойгу, которое располагалось на этой же улице. Кое-как он пристроил свой армейский уазик сбоку припекой и подался к дверям штаба. Но вынырнули двое в штатском — шутка! — вынырнули двое людишек, как и положено, такой категории или изображающих такую категорию, ссугорбленных и бритых, но уже не синих, хотя еще и не совсем накачанных, без складок на затылках и пока еще без дорогих перстней.

— Летёха, ты, это, в натуре, не торопись! — как бы даже вежливо и как бы даже устало, вот от таких непонятливых, как Саня, приехавших и куда-то, задрав рыло, побежавших, устало, в нос и врястяжку сказал один.

— Короче, за постой платить надо, командир! — сказал второй.

А с каких барышей он, офицер Красной армии, как они то ли в ностальгию, то ли в издевательство над собой любили называть себя, с каких-таких правительственных щедрот он будет платить, когда не то что не получали, а даже запах денежного довольствия забыли.

— Короче, — сказал он им как можно приятельски. — Короче, я готов взять у вас любую сумму!

— Тебе чо, колеса лишние, командир? — спросил второй.

Было очевидным — оба не служили, оба сидели. И оба его форму воспринимали формой вертухая, или как они там

называли служащих работающего с ними ведомства. А у него вот этакий с самого его лейтенантства, то есть с того самого летехи, стали вызывать не столько злобень — что уж там со злобенью, шибко мелко! — у него этакий стали вызывать жуткий внутренний холод. Злобень с некоторой поры стали вызывать вообще пиджаки, все эти гражданские, разболтанные, говорливые, вертко-скользкие, умные и одновременно анемичные, одышливые и трусливые, но снисходительные к ним, к армейским, как к недоумкам. Все, что оказалось за зеленым забором, все эти пиджаки, своей беспорядочностью и непорядочностью у него стали вызывать злобень. А такие, а этакий — они вызывали уже не злобень. Они вызывали жуткий холод, ну, прямо лед они вызывали где-то в брюхе. Враз у него там смерзлось.

Между машин было не очень удобно. Но он въехал первому, ближе стоящему, сапогом в колено — пах пожалел, все-таки не совсем, видно, смерзлось брюхо, — въехал сапогом ровнехонько в колено и торцом ладони — в переносье. А второго, взявшего с места аллюром, он достал через несколько шагов, приволок обратно, подбил сзади ему ноги, положил рядом с его, так сказать, товарищем и прошипел:

— Убью!.. Обоим сидеть здесь и ждать меня!.. Уазиком по тротуару размажу!.. Поняли, сучата?

Логика в его шипении было хрен да маленько, ибо где же он их достал бы, если бы они сбежали. И что бы он стал делать если бы они привели сюда свою бандитню, или бы, того хуже, проткнули бы колеса, а потом убежали? Хотя первый визжал с проломленным коленом — и уползти-то не мог, а только гнал визгом прохожих на противоположную сторону улицы. Но все же логики в его шипении не было. И логика здесь не была нужна. Логика — это у пиджаков, в их словосотрясениях, в их презрении ко всем, кроме себя, в их неприятии всего, что не касается лично их, их спокойствия и благополучия, собственного, личного благополучия, не распространяющегося даже на их родителей, жен, детей. Так он считал тогда и всю логику мнил за пиджаками. А в такой ситуации, которая вышла у него с этим вшивьем, логики не было надо. Их надо было просто давить. И он легонько долбанул в нос второго:

- Ты понял? Ждать меня здесь!
- Понял! — захлебываясь кровью, сказал второй.
- И этому утри сопли! — приказал он.
- Понял, — сказал второй.
- Гранату без чеки в руку дать? Держать до моего

прихода будешь? — спросил он, хотя гранаты у него не было.

— Нет, — сказал второй.

— Будешь ждать без гранаты? — спросил он.

— Буду, — сказал второй.

— Скорую вызовите! — провизжал первый.

— Вызову, — пообещал он.

Никакую скорую он не вызвал и не подумал вызвать, а когда вернулся к уазу, подле уже никого не было.

И потом была у него на этой улице еще история, как бы отличная от первой, но в чем-то ей сродни. Костя нашел ему представительство одной московской фирмы, и он заступил в должность, то есть сел в мягкое вертящее кресло в большой комнате отданного ему в распоряжение офиса — сел в привычной уверенности, что сотня, как в бригаде, обязанностей сорвет его с кресла, и он никогда более не коснется своей тыльной частью его хрустко скрипящего, но и якобы все понимающего и все принимающего, то есть, получалось, беспринципного устроища. Он и к креслу тоже отнесся с разговором, как отнесся утром к квартире и к цветам около подъезда, как и вообще ко всему. И понравилась ему эта кресловая, черная, ласкающая беспринципность. Но наученный в службе служить, он не поверил в свое пребывание в этом кресле и ждал, что новая служба сорвет его сотней задач.

Из всех посетителей в первый день он принял только зеленую муху. Она залетела из холла, когда он вышел размять ноги, и прижилась, не особо-то ему мешая. На второй день он в полной тишине стал вспоминать, нет, не то чтобы стал вспоминать. На второй день воспоминания пришли сами. Он счел абсолютно неуместным служебное время, которое ему, кстати, и в отличие от армейского, хорошо оплатили авансом, использовать в личных целях, то есть предаваться воспоминаниям. Но они полезли. И на третий день, весь изнервничавшийся от своего служебного несоответствия, он позвонил в фирму и доложил, что ничего не делает и даже по отсутствию задачи и в опаске что-нибудь сделать не так, никаких самостоятельных действий не предпринимает да и представить не может, что именно предпринять.

— Вы на работе, Александр Михайлович? — спросила фирма.

А он посчитал ложью сказать, что он на работе, потому что никак не мог признать работой полезшие воспоминания и сожительство с зеленой мухой.

— Но вы на рабочем месте, вы в офисе? — переспросила фирма.

— Я в офисе! — подтвердил он.

— Ну, так значит, все путем. Чего вы волнуетесь! Главное, вы на рабочем месте. Как у вас там раньше по службе было, в схроне, что ли. Займите себя чем-нибудь, ну, вот хотя бы, составьте характеристики стрелкового оружия.

— От первых пищалей или от арбалетов? — начал уточнять он да вдруг догадался, что задачу ему ставят от чирья, так сказать в снисхождении, в начальнической сообразилковке о том, что у отставного Аника в одном месте взбух этот чирей, и сидеть Аника не может.

Он догадался и, было, вспыхнул, но быстрее, чем вспыхнул, почувял, что других задач не будет, и он посажен сюда в качестве отвлекающего предмета, в качестве кота в засаде Чеки — о коте и Чеке как-нибудь потом — а в тот миг он это почувял и сказал себе: «Значит, «Рога и копыта», а я Фунт!» — И он бы оставил эту фирму с ее единственным посетителем зеленой мухой, оставил бы тотчас после этого разговора, но не успел он дослушать остальной начальнический треп, как пришел Костя.

— Ты точно контуженный, Саня! У тебя времени херова туча! Ты радуйся, что ничего не требуют! Сиди и пиши мемуары! Усталая лошадь легла в борозду, ты над ней не ахай, есть двадцать — посылай всех в узду, есть двадцать пять — на сук! — сказал Костя армейским фольклором и, как сегодня чернявочка, адрес назвал без шифра, открытым текстом.

А он надул щеки и набылчился. Невозможно было ему, матерому бандерлогу, имеющему очень не последний номер в списках нохчей по оплате его головы, понять маленькой истины, с какого такого бугра его посадили на место, в лучшем случае предназначенного для какой-нибудь фифочки.

— Я, Костя, ничего не пойму! — сказал он.

Он действительно не мог понять своего положения. Он мог его понять только так, что его положение старого матерого бандерлога здесь, в пиджачном мире, ноздрь навывыворот, никому не было нужно, что его вернули к самому началу, как будто он только что закончил школу и вполне мог принять за счастье любое фифочкино положение. Об этой фифочкиной службе или, как фифочки ее называли, работе, он был наслышан и всегда изумлялся полному несоответствию того, чем фифочки занимались, с тем, как это они называли. В его восприятии работа предусматривала физическое усилие, а служба предусматривала усилие характера и души, чего в нынешнем пребывании фифочек

в офисах, как, наверно, и самих боссов, обыкновенно не велось и не предусматривалось уставами этих офисов и фирм. Он был наслышан о, так сказать, фифочкиных службах и, так сказать, фифочкиных работах. Каковая она была, эта служба или эта работа, на самом деле, он не знал, но в словах тех его товарищей, таких же бандерлогов, кто о них говорил, служба и работа фифочек заключалась в умении быть под столом и шевелить губками – и не ботфорты целовать, как нам досталось знать о временах каких-нибудь Аракчеевых и Бенкендорфов, а шевелить губками чуть выше ботфортов. У него не хватило сил поверить в это. Он не верил в это. Но знание об этой стороне фифочкиных служб и работ как бы подтверждали многочисленные «Лексусы» и «БМВ», оседланные этими фифочками. Разумеется, это были далеко не «Лексусы» и «БМВ», а были авто гораздо пожиже «Лексусов» и «БМВ», но он как-то раз окрестил их именно этими марками и потом не затруднялся по-другому называть. И, глядя на них из трамвая, он отмечал какую-то всех фифочек абсолютную отстраненность, будто они не торчали в пробках и будто их нигде не ждали, будто они ехали только по своей воле, будто они не были вообще никому нужны, будто от них ничто не зависело и не зависело только потому, что они были выше всякой связи с кем бы то ни было. Они равнодушно снимали рычаг скоростей с нейтралки, если в их «Лексусах» и «БМВ» эта операция еще предусматривалась, равнодушно несильным толчком проезжали метр расстояния, опять останавливались и кукольно-целуллоидно застывали. Ему в этот миг хотелось отметить, что они застывали чугуно. Но их равнодушие, их холодность и их как бы отсутствие в этих самых «Лексусах» и «БМВ» его переламывали. Ему становилось жалко чугуна, только-то кипевшего и застывшего. Он находил, что с них хватало и целуллоида. На какие средства были приобретены эти «Лексусы» и «БМВ» он не гадал, потому что приходило сразу и приходило первое – за умение работать под столом.

Вот так он принял по первоначально свое положение. И Костя ему сказал, что он точно контуженный.

— Тебе какое дело, Саня! Тебе какое дело, бандерлог ты мой недобандерложенный! — навис над ним Костя. — Твоими именами надо улицы называть. Смотри, как звучит: улица Михайлова-Бандерлога!.. А? — Скажите, — это, например, какая-нибудь бабушка к тебе обращается. — Костя, конечно, вместо слова «бабушка» сказал слово, начинающееся с этой же буквы, но гораздо более короткое,

гораздо более односложное и даже совсем односложное слово. — Скажите, молодой человек, как проехать на улицу Михайлова-Бандерлога! — А? Звучит?.. А ты ей, как поручик Ржевский, сразу же: А не исполнить ли нам... — Костя опять вместо слов «не исполнить ли» сказал определяющее слово из лексикона поручика Ржевского. — А? Саня! Звучит? — и совсем утверждающе прибавил: — Звучит! Вот так-то, друг мой! Это моим именем улицу никогда не назовут. Разве что — переулок какой-нибудь. А то вообще — тупик! Тупик имени Кости Кравца. Вот так, не Кравца, а Кравца!. А? Ничо?

— Ничо, — квакнул он, но щеки надувать не перестал.

Никак в него не входило то, что его, матерого бандерлога, ну, и, если уж официально, его, командира батальона и орденоносца майора Михайлова, посадили на место фифочки, которой самый раз здесь сидеть и от нечего делать — шефа ведь нет, чтобы нырять к нему под стол! — сидеть да бровки выщипывать.

— И не только бровки, а еще и лобок! — прибавил Костя.

Костя не был ни матерщинником, ни циником. А казарму на себя он напускал по обыкновенному мальчишеству, в котором остался, несмотря на Афган, полковничье звание и степень доктора наук.

Так вот, пока Саня, надувался, подкатила подлинная фифа с уже пощипанными бровками и величиной с нынешнюю чернявочку, только против нее шибко тощая — с ударением на «а» — тощая, узкоротая и колченогая. Чернявочка была кривоногинья, а эта — колченогая, то есть как бы насчет ножек чернявочки похуже. Женщин он за всю свою жизнь в лесах и полях, то есть горах, и на задаче перевидал столько, что умещались они в то самое определение «хрен да маленько». Но даже при всем при этом подкатившая фифа была ни хит, то есть найн, то есть вообще Гитлер капут. Тощая, колченогая, без той тыльной части, при взгляде на которую у мужчин вдруг возникает не только эстетический интерес, вот такая, от плеч до колен без каких-либо всхолмлений, узкоротенькая и с выщипанными бровками подкатила к нему фифа. Увидев ее, он привычно заперевивал, привычно заболел душой, как ложно заперевивал нынче за чернявочку, мол, замуж не выйдет. И потом он долго переживал другое. Потом он переживал долго свое неумение видеть людей. Это стало ему новым. Оказывалось, видеть людей под формой одно, а видеть людей под фирмой — другое. Этак он опять съерничал. Но выходило, под фирмой, то есть в обычной пиджаковой

жизни, видеть людей было делом намного более сложным.

Хотя бывало, и там по какой-то своей выпендренности он не мог увидеть человека. В Ботлихе, в августе девяносто девятого, он заглянул к своему знакомому начпроду. Рота не жрала второй день. Не кормили, потому что рота еще числилась на махачкалинском аэродроме. И он пошел к знакомому начпроду. В палатке у начпрода сидели мужики и глушили водку. Начпрод сунул ему полкружки:

— Пей, Саня!

А ему стало тошно. В километре вертушки таскали шеренгами на Абдал Забазуль солдатиков и шеренгами снимали оттуда двухсотых — причем беспрерывно: туда и оттуда, туда и оттуда. Говорили, руководил операцией какой-то эмчесовский генерал, возглавлявший Звезду Героя на грудь и гнавший солдатиков на Абдал в лоб. В километре была самая настоящая бойня. А здесь будто не было войны. Здесь бухали и травили анекдоты.

— Да пей, Саня, не грузись! — сказал начпрод.

Он хряпнул и ушел. И отчего-то он запомнил одного капитана. Распоясанный, расхристанный, какой-то изверченно-искрученный, с бабским без щетины и испытанным лицом был капитан, был, сидел в палатке начпрода, жрал водку и хрустел маринованными огурцами. «Вот же скот!» — сматерился он на капитана. А через день начпрод его поймал и сказал, что капитан... — «Помнишь капитана? У меня был, когда ты приходил», — этот капитан сгорел в бэтээре, до последнего прикрывал своих ребяток.

Вот так прибежала фифочка, брызнула ему слезами: — Только вы можете меня выручить! Меня только что из офиса в доме напротив выселил хозяин! Нам некуда деваться! Хоть на два-три дня, пожалуйста, пустите! А то все наши бумаги, вся наша оргтехника просто лежит на тротуаре!

Саня сам перенес ее скарб, то есть бумаги и компьютеры, и был собой доволен, был доволен тем, что хоть на этот раз сумел увидеть человека. Правда, зеленая муха тут же куда-то слиняла. До того она три дня упорно билась рядом с открытой форточкой, а тут быстро сообразила. «Вот же, едрена мать!» — сказал он ей вдогонку, то есть не вдогонку, а обнаружив на какой-то день фифочкиного вселения ее отсутствие. И он стал жить в этом цветнике, в этой благоухающей всеми оттенками цветочных запахов клумбе из дюжины женщин под постоянным прицелом их сияющих в него глаз. Он стал пребывать в этом цветнике сам не свой. И его хватало только подивиться тому обстоятельству, что большая часть этого цветника были или незамужними, или

разведенками. «Нету мужиков!» – говорили незамужние. – «А это не мужики!» – говорили про бывших мужей разведенные. Ему это было странным. Ему это было просто непонятным. В бригаде практически каждый офицер или прапорщик, за вычетом разве что Чеки, был женат. Служба была в бригаде, то есть вообще в их ведомстве, ну, просто мед с вареньем, присыпанная сверху сахарной пудрой. За такую службу, конечно, не платили – а что платить, коли и так до скуловороченья, до вывиха ноздрей служить было сладко. Счастьем было, если вечером перед уходом домой удавалось заполучить у завстоловой буханку хлеба.

– Ребята! Мужики! Товарищи офицеры! Ну не могу я вам хлеб раздать! Мне солдатиков надо кормить! Меня же под трибунал отдадут! – рвал китель завстоловой.

Но по какой-то самим установленной очереди он каждый вечер кому-то хлебушка всучивал. И было за счастье лететь орлом домой и нести в клюве своей орлице и своим орлятам этот хлебушко. И никто ни от кого не уходил. И получалось, тем женщинам мужики были. А этим женщинам мужиков не было. Станным ему это было. И странным ему было ловить их сияющие в него взгляды. За его пенсией в шесть тысяч, ну, плюс две за боевые, за его восемь тысяч пенсии и за его ранения с контузией, принесшие ему скачущее давление и списание в пиджаки, они видели мужика. А за хорошие зарплаты, за «БМВ» с «Лексусами» и внедорожниками они мужиков не видели.

Фифа была русской, но с какой-то литовской фамилией Скунсус или Скунскус – причем не Скунсене или Скунскене, как того требует литовская грамматика для замужних женщин. При своей страшности она была счастлива замужем, о муже и малом дите говорила с придыханием. И вообще она с ним, с Саней, тоже говорила с придыханием. Он этого придыхания стал сразу бояться. Это придыхание его стало волновать.

– Это ничего, что я просилась только на два-три дня, а нахожусь у вас уже месяц? – спрашивала с придыханием она.

– Это ничего, – кивал он и старался тотчас же найти занятие или просто отойти от нее на расстояние.

И однажды в понедельник он пришел к себе в офис, уже за несколько шагов не угадывая привычного гула женских голосов и гула женского аромата. Он взялся за дверную ручку и на мгновение замер. Это было похожем на то, как если бы он замер, задев растяжку. А если точнее, то так замирает зеленый пацан. Ведь четыре секунды дает судьба. И если

сразу почувствовать тот миг, когда коснулся растяжки — тогда судьба дает четыре секунды. И такое было. За четыре секунды успели все брякнуться наземь, а он, Саня, как теперь принято в российских вооруженных силах, успел закрыть собой ближнего к взрыву бойца и, кроме прочих осколков, получил сквозной осколок в голову. И потом, сказав по связи, что есть два трехсотых: он, Саня, и боец с ранением в чушку, разделившись на две группы — одним продолжать задачу, другим нести Саню — бегом, шесть часов бегом несли Саню до места, где смогла приземлиться вертушка. А бойцу, пацану, от души напинали — какого хрена не брякнулся, как, стерши глотки, учили отцы-командиры, и напинали в назидание, чтобы остаток жизни благодарил судьбу в виде Сани, то есть благодаря Сане задевшую его только по чушке да и то касательно.

И Саня в понедельник за несколько шагов до офисной двери почувствовал отсутствие уже ставшего родным гула женских голосов и гула женского аромата.

Дверь была незакрытой. В офисе не было ничего. Не было даже кресла. О зеленой мухе, заблаговременно смывшейся в форточку, уже говорилось. В офисе у Сани не было ничего.

Он купил и кресло, и компьютер. Он заплатил штраф за жуткий перерасход электричества сверх лимитов. И он — вот уж подлинный дурак — нашел фифу, и пришел, и сказал, мол, как же так.

— Мужчина! Вы кто? Я сейчас вызову охрану! — с абсолютным презрением во взгляде и полным отсутствием придыхания завизжала фифа.

И женщины в него не сияли взглядами. И — это он потом отметил — в момент его прихода и за несколько шагов до его прихода не было гула женского аромата. Вот так странно случилось с женщинами.

7

Саня вошел в свою улицу Пушкинскую, по пустынности, то есть по малолюдности, как бы сельскую улицу. Сожженными и беспорядочно брошенными бэтэрами привычно около дома профсоюзов торчали несколько иномарок. Привычно, будто на развод караула, вышел из дома профсоюзов красивый задумчивый мужчина. Он красиво и задумчиво затянулся сигаретой. Он всегда прогуливал себя и, наверно, большую часть рабочего времени он прогуливал себя. Он Сане напоминал американцев поры их совместных учений, то есть не учений,

а соревнований. Великий Паша Грачев, министр обороны, стоворился о таких соревнованиях. Ехать в Америку у Паши явно не было грошей. Он пригласил Америку на уральские зеленые просторы. Приехали крупные, накаченные, затылистые, уверенные в себе и снисходительные к ним, к Саням, Чекам, Добрям, Шурупам, и прочей кильке и хамсе, к всему этому позору нации, имеющему, однако, гонор именовать себя спецназом гереу. Весь сей позор нации на своих заокеанских коллег набычился, подобрался пустым брюхом так, что прилипли к ребрам не только кишки с печенкой, а и те мужские достоинства, которые полинезийцы именуют словом «уу».

— Товарищ капитан, ноздрь навывих, а мы их сделаем! — сказали они Сане.

— Да уж прошу, чтобы не приказывать! — впервые тогда сказал Саня свою знаменитую фразу.

Домой, в свой заокеан, те поехали такие же накаченные и затылистые. Но надломчик от устроенного им облома сокрыть они не смогли. Этот надломчик очень даже можно было видеть, так сказать, невооруженным глазом и не надо было для этого шурупчиковой снайперки. Облом был таким, что, докладывали, у Паши Грачева по началу кривая, как бы все-таки держащая удар, улыбка в конце превратилась в свирепую. А тут еще Чека в упражнении «засада» купил их, как шуку на загнутый гвоздь, точнее, как курят, купил он их на черного кота.

— Я вообще-то берег кота для лучшего случая. Но для дорогих гостей — не жалко! — сказал Чека.

Таких вот коллег из заокеана напоминал Сане этот красивый задумчивый мужчина, ставший неотъемлемой принадлежностью Пушкинской улицы. Костя рассказал, что мужчина был комсомольским работником. Костя тогда служил в политуправлении округа, пару раз пересекся с ним. Красивый мужчина ничего не делал, ничего не решал, никогда не брал на себя ответственности. Он только задумчиво и внимательно, немного за спину смотрел всем, с кем разговаривал, будто видел там горизонты коммунизма, к которым так безыдейно и безответственно повернулся задом его собеседник. И этим взглядом он навсегда обеспечил себе карьеру сначала комсомольского работника, а теперь работника, в любую минуту могущего ходить по Пушкинской улице и в значительном выражении лица и в значительной позе курить.

За несколько шагов до офиса Саня услышал требовательную трель телефона и мягкий голос секретаря.

Времена, когда ему приходилось просто сидеть и бороться с воспоминаниями, прошли. Его задачей, если считать по-старому, было наблюдение. Фирма на Урале располагала определенной производственной собственностью. В наработку авторитета фирмы он был обязан устанавливать степень качества потенциального партнера с тем, чтобы фирма могла знать, что имеет дело только с элитным партнером. Сама фирма, как Саня догадывался, горела синим пламенем, платила Сане в полном соответствии с его прежней службой и столько, что Саня со своей пенсией против фирменной зарплаты казался себе олигархом. Но фирма посадила Сане секретаря. Всей задачи секретарю, вальяжной женщине, еще не потерявшей остатков красоты, было охотиться и говорить, что ей надо найти другую работу. Саня секретаря стеснялся. Сначала он верил ее словам о другой работе, потом понял – женщина здесь была на своем месте, ибо ничего другого делать не умела. Саня тоже, кроме как воевать, ничего делать не умел. Так они и сидели, так и ждали, когда фирма сгорит.

Секретарь тотчас наговорила Сане кучу новостей про то и про это, про то, что показывал вчера телевизор, про то, что писали, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и «За здоровый образ жизни», про то, что сказали Путин с Медведевым, Кондолиза Райс, Миша Саакашвили и девушка с косой Юлия – не надо забывать, что все они были видными политическими деятелями современности. Сказала она про своего кота, совсем не интересующегося кошечками, и своего мужа, совсем не интересующегося ею, про дочь, у которой на работе из-за шефа не совсем было все в порядке, и внука, который рос ну совершенным ангелом и вундером. После этого она спросила, не надо ли Сане чаю, снова рассказала про то и про это, то есть уже про другое то и это – про подругу, абсолютную неумеху и растяпу, но от которой муж до сих пор был без ума, про сына другой подруги, плотно подсевшего на иглу и все тащущего из дома, про абсолютно невкусную, какую-то кисло-мыльную, купленную вчера в супермаркете копченую колбасу. И про многое другое стала говорить Сане секретарь. Сане всегда при ее разговоре было стыдно, будто он был ответственен за секретаря. Прервать же ее у Сани не хватало характера.

Он вспрял, когда она сделала себе передышку и пошла за почтой. Он тотчас стал звонить Женечке. Он уже набрал несколько цифр ее номера, но вдруг остановился, успокаивая сердце. Пока успокаивал, ненароком посмотрел на стол секретаря и в логическую цепочку от нескончаемости ее слов

он вспомнил задумчивого мужчину, которому в затылок сразу выстроились американцы. Он заулыбался, так как за американцами всплыл черный кот Чеки.

Идея Чеки с котом была зияюще простой. Однако эту идею надо было поймать.

— Нет, товарищ прапорщик, не получится! — засомневались ухарики Чеки.

На дискуссию времени не было. Чека сказал:

— Будем!

Ухарики рассредоточились и притащили черного, пушистого и даже, можно сказать, смазливого кота:

— Во!

Валерьянки в санчасти не дали.

— Зачем вам, прапорщик? — спросил врач. — Если для этого, — врач имел в виду дернуть, — то не рекомендую. Для этого лучше настойка боярышника. Но у меня и ее нет.

Занять денег было не у кого. Никому не платили. Чека взял у жены новенькие домашние тапочки с помпончиками — его же подарок на восьмое марта — и отнес торговке. Денег хватило на целых пять фандуриков, то есть, проще говоря, на поллитру. Дали коту. Он отреагировал очень индифферентно. Взяли его за руки за ноги, то есть за передние и задние лапы, чтобы не брыкался, раскрыли пасть и ленули. Вынужденно кот, конечно, выпил, окосел, приобрел походочку, будто в море лодочка, но еще просить не стал.

— Ничего, привыкнет. Будем поить — привыкнет! — сказал Чека.

— Сами быстрее привыкнем! — опять засомневались ухарики.

— Кто первый привыкнет, тот и пойдет вместо кота! — сказал Чека.

Сутки прошли — кот не привык. Чека загрустил.

— Древний Рим спасли гуси. А Америку спас какой-то кот! — в сердцах сказал он.

— Может, и у котов бывают непьющие. Или этот уже завязал! — посочувствовали ухарики, опять рассредоточились и опять притащили черного кота, но какого-то такого, в которого Чека сразу поверил: этот не подведет!

— Да тот-то кошкой оказался, товарищ прапорщик! Нам его хозяйка сказала! А кошки валерьянку не пьют! — сообщили они.

Новый кот на ходу подхватил задачу. Чека с валерьянкой залег по одну сторону дороги. Добря, замок, то есть

заместитель Чеки, пустил кота с другой стороны. Получилось – лучше не бывает. Кот стрелой кинулся к валерьянке. Повторили – результат был один к одному. Усложнили задачу, то есть довели ее до необходимого. Чека с валерьянкой опять залег по одну сторону дороги, Добря с котом – по другую, а ухарики покатали по дороге на «Урале». «Урал» кота не остановил. А кот «Урал» остановил. Только он стрелой вылетел от Добри к Чеке, как ухарикам невольно пришлось дать по тормозам.

– Черт! Сам не ожидал! Ведь знал, но нога сама надавила на тормоз! – признался водитель.

– И все-таки! – сказал Чека и велел перед американцами обвязать кота тонкой леской. – Хрен его знает, на всякий случай. Вдруг кот окажется патриотом и кинется американцам морду бить! – прибавил он.

Кот морду бить американцам не стал. Тут Чека был о нем лучшего мнения. Кот перед американцами на дорогу не пошел. Те, как и положено по заданию, катили по дороге на «Урале», Добря в нужный момент пустил кота, а тот – ноу! Добря его пинком – в зад. Чека ему навстречу – валерьянкой. А тот – нет, тот: ноу – и все.

– Он что, трус или заокеанский засланец! – едва не заорал Чека и леской попер его через дорогу.

Потом американское начальство спросило наше начальство.

– Скажите, – спросило оно. – Кто был это маленькое черное чудовище, которое четырьмя лапами упиралось и не хотело перейти дорогу, но все равно ее переходило?

Ответа не слышал ни Саня, ни Чека, то есть прапорщик Сурков Алексей Петрович. Только начштаба бригады полковник Орлов, находившийся с американцами в «Урале», спросил:

– Честно, Алеша, а что это было? Я сам едва не вспотел, когда увидел.

Вот такое воспоминание выровняло Саню.

С Женечкой было договорено сегодня быть в театре, где один очень большой человек, в смысле его служебного положения, давал концерт своих произведений. В театре должна была быть вся элита города. О концерте в среде элиты несколько дней говорили. Говорили не так, как нам донесли в своих романах писатели девятнадцатого века. Говорили реже и без отличающего публику девятнадцатого века

преклонения едва ли не перед каждым служителем Мельпомены. Но все-таки о концерте говорили, потому что быть на нем многим много значило. На концерт был приглашен даже московский шеф Сани, однокурсник очень большого человека, который приехать отказался, а приглашение передал Сане.

Возможно, в своих суждениях Саня очень ошибался, как уже несколько раз ошибся. Вполне возможно, очень большой в административном отношении человек мог сочетать свои творческие способности с административными, и наоборот. Только Саня не мог разрешить задачку, в которой ни у которого из вояк никогда не было никакого времени ни на какое творчество, не связанное со службой. Да ни у кого из них не было не только времени, у них не было и средств. У них вообще ничего не было, кроме возможности сверху вниз фигуристу и фасонисто орать и грозить служебным несоответствием на любой рапорт по команде, потому что ни чем иным они ответить не могли. У них не было ничего, кроме дырки в башке, насвиставшей им когда-то стать вояками. У них не было ни денежного довольствия, по-пиджачному, зарплаты, ни квартиры, ни постоянного места жительства, ни казарм для солдатиков, ни теплых боксов для техники, как не было самой техники, если не считать технику времен царя-батюшки, как не было современного вооружения, современной экипировки. А у гражданских начальников все им нужное и даже сверх нужного, оказывается, было.

Саня это прокачал и поступил нетривиально, как должно поступить служащему его ведомства, хотя и с риском, превышающим разумные пределы, о которых гласят служебные документы. Саня как бы в оплату всех своих бесплатных и, выходило, дурацких ратных трудов в чувстве глубокой справедливости попросил у шефа билет и для Женечки. Шеф был человеком чутким и не без юмора. Он при том, что сам быть в театре отказался, попросил у очень большого человека еще одно приглашение. От очень большого человека Сане позвонила секретарь и выверенным сочетанием строгости с благожелательностью довела до сведения Сани сугубую эксклюзивность приглашений. Саня опять позвонил шефу. Шеф опять позвонил очень большому человеку. От очень большого человека опять позвонила строгая, но одновременно благожелательная секретарь и сказала о вдруг появившейся возможности еще одного эксклюзива.

Женечка была просто красавицей. В свои двадцать пять

она уже была бухгалтером хорошей фирмы. Они познакомились весной. Поздно вечером Саня ловил машину. Остановилась Женечка.

– Что же вы так поздно? – спросил он.

– С работы. Бухгалтерский отчет, – сказала она.

– И не испугались? – спросил он.

– Наверно, впервые, не испугалась, – помолчав, сказала она.

– Это у вас «Лексус»? – спросил он.

– «Лексус», – подтвердила она, чем вдруг ввела его в смущение. Очень не захотелось ему верить в свое представление о том, как добываются «Лексусы» такими молодыми, как она, женщинами.

– А у вас? – спросила она.

– Что? – не понял он.

– У вас какая марка? – повторила она.

– У меня шестнадцать бэтээров, – сказал он и прибавил: – Было.

Их отношения складывались очень неровно. Он не мог понять, зачем он нужен ей, юной красивой и эффектной женщине, и никогда ей не звонил, никогда к ней не заходил и даже не знал адреса ее фирмы. Она стала к нему заходить сама, взволнованная и напряженная, скрывающая свой приход за какой-нибудь всякий раз новой причиной, по которой она якобы оказалась на Пушкинской улице или рядышком, и, оказавшись здесь или рядышком, якобы не могла не зайти. Трудно было сказать, радовался он или не радовался ее приходам. Можно было сказать одно – он не знал, что в такие минуты делать. Он боялся оказаться солдафоном, казармой, стариком, вообще человеком из иного мира, из иной эпохи, из иного языка и из иного жизненного уклада, каким, собственно, Саня и был. Язык и интонация речи ее поколения, ее интеллект ему были чужими. И, кажется, все в ней ему было чужим. Но он признавался себе, что ее внешняя красота, ее изящество, ее наряды, парфюм и ее посещения волновали его как мужчину. Ничего другого в себя он не пускал, закрывшись все тем же бэтээровским люком: зачем он ей, старый дурак, нужен.

Пробило, если, конечно, пробило его только в связи с этим концертом и с историей с билетами. Получив вчера второй, страшно сказать, эксклюзив, он позвонил ей. Она радостно откликнулась.

– Как классно! – возликовала она. – Я только утром прилетела из Египта, и вы мне звоните!

Она сказала, что к театру приедет троллейбусом. И приехала в черном вечернем платье, наверно, от самой мадам Коко, и такая красивая, такая молодая, счастливая, что он задом-задом едва не попытался скрыться. Что говорить, если уж Кушка — смотри на карте самую южную точку Советского Союза — это дырка на тыльной части солдатского организма, то тут ничего не поделаться, потому как у некоторых, типа Сани, самая верхняя часть того же организма, то есть башка, похоже, находилась как раз вокруг Кушки. Воистину: «Пехоту высадили на три сто...» Но Женечка просияла ему счастливой улыбкой. И впервые за все отношения между ними, да, кажется, впервые с его лейтенантства, если не вообще впервые в жизни, он поверил в какую-то иную судьбу, нежели была у него.

— Я только вчера из Египта, и вы звоните! Как классно! — снова сказала Женечка.

Она подошла к нему так близко, что он, кажется, услышал удары ее сердца.

— А не загорели! — сказал он как можно короче. Длинной фразы он сейчас сказать не мог.

— Я не люблю загорать. Я все время была в шляпе вот с такими полями! Я к вам в этой шляпе приду! — ответила она.

Он больше говорить не мог. Глядеть на нее он тоже не мог. Возможность иной судьбы будто остановила его.

— А мама прислала вам привет и вот это, — она вынула из сумочки красиво оформленный сверточек. — Вот, ее пирожки вам!

— Мама? — спросил он совсем несуразно и вспомнил на миг того растерянного генерала.

— Я их вам потом отдам, после театра! — сказала она.

От остановки до театра была сотня метров. Они пошли — она свободно, а он через силу. Он боялся взять ее под руку. Он несколько раз нечаянно коснулся ее руки своей рукой, даже не рукой, а лишь волосами на руке. Каждое прикосновение его мучило.

— Как Египет? — спросил он опять коротко, чтобы скрыть мучение.

— Классно! Я вам расскажу! — откликнулась она.

Он снова почувствовал в ее голосе нескрываемую счастливую улыбку.

Посмотреть на нее он смог только в вестибюле второго этажа театра, когда из-за толчеи все-таки пришлось взять ее под руку, а потом вообще встать близко-близко друг к другу, так что она несколько раз невольно коснулась его грудью.

Надо ли говорить, что в эти мгновения он каменел и изо всех сил делал вид, что этих прикосновений не заметил. А потом насмелился и посмотрел на нее. Он посмотрел коротко. Она в своем нескрываемом счастье пыталась оглядеться вокруг. Рост ей этого не позволял. Но она все равно пыталась. Он понял. Она просто искала кого-нибудь, кто бы увидел их вместе — ее, его и ее счастье. Ему тоже захотелось, чтобы кто-то увидел. Что-то с ним случилось. Ему захотелось нежно обнять ее и тем как бы отблагодарить за ее счастье. Под предлогом, что вокруг толкуться, он взял ее за плечи.

— Толкуться, — сказал он.

— Толкуться, — сказала она, всхмутив бровки. Глаза при этом продолжали лучиться счастьем.

Тут же их действительно толкнули. Он ее почувствовал всю от короткого и какого-то ароматного, будто айва, дыхания до щиколотки, которой она в удержании равновесия угодила в его щиколотку.

— И, правда, толкуться! — сказал он.

— Правда, толкуться! — счастливо сказала она.

— Ну, как все-таки в Египте? — спросил он в прихлынувшей легкости.

— Очень классно, Александр Михайлович! Там... — начала она.

— Да просто Саша или Саня, как звали меня в бригаде! — попросил он.

— Хорошо, — согласилась она. — Я не знаю с чего рассказывать. Представляете, там такие пирамиды. Они на самом деле совсем не такие, как на фотографии. Там все классно. Сначала там жили египтяне. Потом через сколько-то лет пришли арабы. Потом там правила царица Клеопатра.

— Нет, от начала пирамид и до царицы Клеопатры прошло несколько тысяч лет, потом еще почти через тысячу лет пришли арабы, — поправил он, хотя почувствовал, что не следовало поправлять, следовало только слушать счастливый ее голос, видеть ее сияющие на него глаза и чувствовать в своих ладонях теплый трепет ее плеч.

— Да, правильно. Я все перепутала. Но это не важно, Александр Михайлович, то есть Саша! Наверно, я вам кажусь глупой. Да я и есть глупая, кроме своей бухгалтерии, ничего не знаю. Но...

Она запнулась, а он, поймав в ее голосе страстные и больно рождаемые нотки, едва не сказал за нее то, что заставило ее запнуться, да и его самого заставило запнуться. «Но я люблю вас!.. — вычеканил он в себе ее невысказанные слова и тотчас

открестился: — Нет, нет! Это я придумал сам, старый дурак!» Признать невысказанные ею и вычekanенные им слова было не только невозможно, но признанием этого выходило явить себя подлинно старым дураком, причем дураком самовлюбленным и похотливым. А уж как Саня ни величал себя, он все-таки надеялся, что это не так, что он все-таки еще не старый дурак, что впереди у него может случиться что-то значительное, хорошее, такое, как вот немного времени назад он понял о возможной перемене в его судьбе.

Она запнулась, посмотрела на него растерянно.

— Ну, все это было раньше — и все. А кто кого на сколько раньше — вот просто так — разве это важно! — сказала она.

Он понял ее «раньше — и все!», понял, что вместе с теми тысячелетиями она не считает и их собственную разницу в годах.

«Какой же сегодня день открытий», — отнеся все только к ней, подумал он. Тотчас снова мелькнул генерал из оврага и мелькнул комбат, по-ихнему, Лом, батяня, практически тоже пославший того генерала по тому же адресу. Они мелькнули. Можно было бы расстроиться, что они мелькнули в такой момент. Но Саня в свете своего дня открытий, отнесенного только к ней, увидел вдруг тот случай по-новому, тоже с открытием. В следующий миг Саня уже не помнил ни генерала, ни батяню Лома. Однако батяня страшно рисковал.

Генерал скумекал, как выражались во времена холопства, чьих такие орелики могли быть, и прикатил в отряд к Лому.

— Это чьи отморозки, которые только что послали меня на «уу»? — заорал он, естественно, русским, а не полинезийским означением адреса. — Я сейчас их видел у тебя в расположении. Чьи это отморозки? Твои?

— Так точно, товарищ генерал, мои! — сознался Лом.

— Ладненько! — опешил генерал. — Ладно. Ну, все! — он вышел из палатки, не зная, что сказать еще, дошел до узика и вдруг круто повернул обратно. — А смотри-ка, подполковник! Они могут генерала на «уу» посылать. Значит, они смогут мне штурмовать вот эту высоту, — генерал ткнул в карту. — У меня нечем высоту взять, а они могут генерала на «уу» посылать! Давай, подполковник, заворачивай их. И чтобы взяли!

Посылать на штурм высоты одну группу, то есть два десятка человек, даже таких, какими были ухарики Сани, — было преступлением. Преступлением было вообще губить их. И комбата Лома осенило.

— Так ведь они уже ушли на новую задачу, товарищ

генерал! – объявил Лом.

– Куда ушли? Что ты мне, подполковник, впариваешь! Я лично видел их только что у тебя в расположении! Ты что, подполковник, меня за «уу» не считаешь? – едва не в родимчике зашелся генерал. – Адъютант! Быстро туда! А ты, подполковник, если соврал, лично поведешь их штурмовать, и если останешься живой, посмотрим твое должностное соответствие и посмотрим твои звезды на погонах!

Адъютант вернулся тотчас, нехорошо посмотрел на Лома, вполголоса доложил генералу: действительно их там нет.

А их там уже не должно было быть, потому что, лишь генерал шагнул за дверь палатки, Лом, батяня, мотавший четвертую или пятую войну, погнал к Сане, капитану Михайлову, посыльного. Саня сидел со своими ухариками, кипятил водичку на спиртовых таблетках и мечтал, как эта водичка закипит, как он опустит в нее чайный пакетик, как потом пошлет этот чаек себе в нутро и чутко будет наблюдать прохождение этого чайка из глотки в брюхо. Ажиотажа после нескольких суток задачи ждал Саня. А прибухал посыльный и грубо заорал:

– Сбор, товарищ капитан! Бегом! Километр южнее отсюда и замаскироваться!

– Что? – едва не хватил по уху посыльного Саня. – Какой на «уу» бегом! Какой на «уу» километр южнее!

– Приказ комбата, товарищ капитан! – оборонился посыльный.

– Пока я чаю не выпью, я и «уу» не пошевелю! – расสวิрепел Саня.

– Товарищ капитан! Сейчас генерал сюда заявится. Комбат приказал вас предупредить! – наконец объяснил посыльный.

9

Женечка больше ничего не стала говорить. И он тоже ничего не стал говорить. Он даже опустил руки. Она немного от него отвернулась, будто надулась. Он тоже немного отвернулся. Оба даже затаили дыхание. Оба от этого стали задыхаться. Но что делать далее, оба не знали. Может быть, оба и упали бы в обмороки. Шутка, конечно. Не упали бы. Но спасением им стали отворившиеся двери в зал, на балкон и приглашение служительницы театра проходить.

Они встрепенулись, прошли к своим местам, признали их удачными. Да они признали бы их удачными, будь они

совсем не удачными. Получалось, они пришли слушать не концерт, а пришли слушать себя. Женечка снова заговорила о поездке. Он с шутливым упреком спросил, что же она поехала, не сказав ему. Она призналась, что хотела сказать, но так как они редко встречались, не получилось сказать само собой. Он почувствовал, что она об этом жалеет, и попытался ее успокоить.

— А можно, я что-то вам скажу? — спросила она.

— Можно, — легко сказал он.

— Я там в каждом военном, ну, их, египетском, военном, видела вас. Как увижу, так... Мне очень хотелось вас увидеть! — выдохнула она.

Он взял ее ладонь в свою. Ее пальцы ответили. «Господи! Как это, оказывается, легко: полюбить!» — с неожиданной силой открыл он. К этому будто ниоткуда, а на самом деле из давней его поры пришли слова: «Любовь не мыслит зла. Она всего надеется, все переносит. Она никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Так давно-давно, еще на первой его войне, еще в пору лейтенантства, сказал ему молодой священник, а он этих слов тогда будто не услышал. Сейчас они пришли. Он замер, слушая пальчики Женечки и эти слова. Он понял, что тоже ее ждал и смотрел с высоты своего трамвайного места на «БМВ» и «Лексусы» не только потому, что ему хотелось еще раз отметить, так сказать, абсолютную отстраненность их владелиц, а еще он смотрел в неосознаваемом, но уже живущем в нем желании увидеть ее.

— Вот вы теперь будете... вы теперь все знаете и будете...

— она снова запнулась, и он снова знал, как продолжить ее слова.

— Что вы, нет! — сжал он ее пальцы. — Я тоже, я тоже всюду вас видел!.. — он тоже запнулся, не умея сказать, как он ее видел всюду, и как не понимал, что видел.

И вдруг он почувствовал, что в зале, где-то сзади него находится его жена. Он почувствовал ее взгляд. Он не захотел его чувствовать, ибо он весь был в пришедших словах и в ответе пальчиков Женечки. И потому он засомневался, не показалось ли. Взгляд, однако, усилился. Сане пришлось поверить — все-таки это шестое, седьмое или какое там чувство работало в нем довольно стабильно, если не считать случая с липами и еще пары подобных случаев. «Оглядываться неприлично», — сказал он себе. «Любовь не мыслит зла, не раздражается», — снова сказал молодой священник.

— Что-то случилось? — спросила Женечка.

– Нет, ничего, – сказал он и вдруг бухнул: – Во сне я сегодня видел липы. А как они называются, забыл!

– Липы? – удивилась она.

– Да так, пустое. Что-то вдруг вспомнилось! – попытался сказать он беспечно.

Он только сейчас вспомнил, что после контузии липы во сне стали предвещать ему болезнь.

От взгляда ему стало совсем невыносимо. Он напрягся, сказав себе: «Только не здесь!».

– Саша, что с вами? – напрягла пальчики Женечка.

– Нет, ничего, – сказал он и все-таки оглянулся.

В уходящем свете ламп и среди множества и множества людей он увидел жену. Не успело сердце бухнуть, как он понял, что ошибся. Жены в зале не было.

– Я сейчас, Женечка! – с быстро нарастающим давлением в голове встал он. – «Только не здесь!» – подумал он про инсульт.

Через час он вошел в свою квартирку.

– Здравствуй, семья! – привычно сказал он.

Он упал и заревел, даже не заревел, а сдавленно заквакал – так было некрасиво, так было по-лягушачьи то, что он делал, уткнув лицо в давно не стиранный диванный покрывало.

На первой своей войне в девяносто втором в Цхинвали лейтенант Саня, как было сказано в его личном деле, участвовал в охране и обороне аэродрома вертолетного полка, в сопровождении колонн с беженцами. Ему по связи сообщили: приехала жена с дочкой. «Какого хрена!» – заорал он. Сильные помехи не дали им поговорить. Он кричал, чтобы она никуда не отлучалась из части. А она, как говорили потом, пошла к ближайшему базарчику за фруктами. В часть она не вернулась. Ее вместе с дочкой нашли изнасилованными и убитыми.

Молодой местный священник говорил ему о любви.

Віктор ТИМЧЕНКО

ТУМАННІСТЬ АНДРОМЕДИ

Не те, що б сісти більше ніде.
Люблю триногого стільця.
Він за кріселечко не зійде.
Скоріш ослінцем для шевця.
Оце б мені та шевські звички,
Та ще до струменту ключі!
Встругнув би красні черевички,
Або хоч добрі кірзачі.
Щоб закаблучки модернові
Прийшлись крутійці молодій,
І десь у кирзовій обнові
Ішов по трави чародій.
І щоб від танцю вогняного,
І від цілющої трави
Не впало з відчаю ні в кого
Ні волосинки з голови.
Оскільки їй діватись ніде,
То немудряща казка ця
У білий світ, візьме та й піде
З мого триногого стільця.

У шибку стукнуло.
А що як не гілляччя?
Ми ж у безодню космосу рвемось.
Зробилося чомусь і смішно, й трохи лячно:
Ну, трапся й справді із прибульців хтось?
Вони ж усе мовчком. — Для них це просто й звично.
А ми і на словах, й на кулаках.
То як з незваним говорить телепатично
Й ні разу не лайнутись у думках?

Гуляє чутка: й наші пращури уміли
Отак от безсловесно, напрямця.
Та ми охрещуєм частенько чорне білим,
І нам до шмиги прямота оця.
І поки зоряність якась там не настане,
Щоб не проспали ми і Божий страх,
Нехай стараються тополі і каштани,
Хоч зрідка барабанять по шибках.

Неспроста нові часи настали,
І життя пішло — найвищий клас.
Бо живем уперше і востаннє.
Кайся і гріши, гріши і кайсь.
У розбродах, в безкінечних гульках
Забуваємо у всякий час,
Що земля, жива, блакитна кулька,
Теж і перша і остання в нас.
Але все-таки на самім денці
Жевріє в розгулі суєти —
Вперше і востаннє доведеться
Схаменутись. Господи, прости!
Тільки б від малого до старого
В душах засвітилося одне:
Ти сірник останній, без котрого
Рятівне тепло не спалахне.

ЛІВРЕЙНІ

Трапилось колись і не одне,
Й не в якійсь картинній галереї —
В ресторані і смішне й страшне:
Офіцерська виправка в лівреї.
Шуби одягаючи свої,
Респектабельні і Жаки й Джоні
Тицяли лівреї чайові,
Й виправка ламалась у поклони.
В двадцять першій віці наш престиж
Дотягнувсь до рейтингу такого,
Що не слід ні в Лондон, ні в Париж
Пертись до смішного і страшного.

Можна й тут уздріти ледь не скрізь
Теж не у картинній галереї —
В модній забігалівці якійсь:
Офіцерську виправку в лівреї.

МУДРІСТЬ

За вікном заюшила сльотавість
Двадцять перший незбагнений вік.
І гадає, що йому зосталось
Тоговічний мудрий чоловік.
Скільки усього уже позаду!
А тривожний смуток душу ссе.
На землі ні спокою, ні ладу.
Але й це, напевне, ще не все.
Навіть сонце очманіло наче.
Чи було таке, чи не було?
Й чоловік утупився незряче
Крізь заюшене сльотою скло.
І здалось, що там зітхнув у тиші
І очима з-під важких повік
Посміхнувся в сто разів старіший,
В сто разів мудріший чоловік.

ФОТОКАРТКА

Ця фотокартка після смерті
Знайшлась в кишені бокової
У дідуся.
Крайки потерті.
Військова дівчина на ній.
Чи десь-то ніжністю п'янкою
Колись утішився солдат.
Чи, може, винесла із бою
Напівживого у санбат.
Скипав, коли, бувало, судять
Про фронтових дівчат жінки.
І мовчаком носив на грудях
Свій дивний скарб усі роки.
Нема ні імені, ні дати.
У піджачку носив старім.
Як наче давній борг віддати
Хоч так хотів — теплом своїм.

ПРОТИГАЗ

Крім нього, тут нічого не знайшлося.
Посічений валявся у сторонці.
Його і поховав із друзів хтось
В непрохололій ще, сирій воронці.
Горбок не довго на виду темнів.
Він, може б, і не вивітривсь до часу,
Та від байдужості і бур`янів
Ні мертвим, ні живим немає спасу.
Уже й від пам`яті протухлим тхне.
До миготні в очах ряснять знамена.
І хто там тоговічне пом`яне?
Та ще і безтілесне, безіменне.
Он риють котлован — задумок чийсь.
Лихий із ним — могила чи воронка.
І він з`явивсь! На білий світ з`явивсь!
Страшний, як запізніла похоронка.

СКРИПАЛЬ

На них з-під кожного замета
Дивилось лихо звідусіль.
А їх вели. Вели у гетто
В морозну люту заметіль.
І раптом тепло й ніжно — скрипка!
Немов навколо й не зима.
Упав під ноги і не скрикнув.
Лише смичка свого зламав.
І хоч від жаху кожен гнувся,
І був од відчаю сліпий,
Ніхто об нього не спіткнувся,
Ніхто, ніхто не наступив.
І крізь усі буренні дати,
Як тиха гордість і печаль,
Лишивсь у пам`яті лежати
Той, не затоптаний, скрипаль.

АКАЦІЯ

Вона у будь-яку весну
По милість тягнеться гіллясто:
«Зірвіть хоч квіточку одну!

Зірвіть! Мене ж не треба красти.»
От тільки шани їй нема.
Ніхто у найкругліші дати
Не ризикне і жартома
Букета з неї дарувати.
Але отій лихий порі,
У час воєнної напасти
Нам — зголоднілій дівворі —
Її доводилося й красти.
Не раз траплялося — голки
І руки, лиця таврували.
Бо хлопчаки є хлопчаки.
За неї й билися, бувало.
То вже й не дивно, що вона,
Ми ж так украй набідувались,
Солодка, біла, запашна
Смачніш морозива здавалась.
Вже скільки років по війні.
Та я забути не стараюсь,
І часом бачу уві сні
Колючу, білу, тиху радість.

РІЧКА

А ось де річка-невеличка.
Куди тече і що несе?
У неї древня мудра звичка:
Терпіти все й мовчать про все.
Із віку в вік тихцем голубить
У глибі часу і води
Сліди веселих життєлюбів
І потопельників сліди.
Між очеретами й кущами,
Під гомін верб і плеск весла,
Слізьми покроплена й дощами,
Несла сміття і кров несла.
І мала славу добру й строгу,
Від всіх приймала каяття,
І очищалась, слава Богу,
Й від крові тої й від сміття.

У човні близенько двоє
Над глибоким плесом в Лопані,
Як свяченою водою,
Сяйвом місяця покроплені.
Був не першим поцілунок.
Та не з того хлопцю весело.
Він уперше на дарунок
Загрібає зорі веслами.
Дай їм, Боже, забаритись
Там — над плесами глибокими.
Та подовше не зустрійтесь
З нами — мудрими пророками.

Ми в неї всі закохані були —
Банально, може, та зате правдиво.
Усім гуртом картопельку пекли.
А печена картопля — справжнє диво.
Ще вогняну розломиш пополам,
Та не поскупишся на дрібку солі —
І, Господи, якої втіхи вам!
Чого іще вимолювати в долі?
А серед гурту нашого — вона.
Задумалася чомусь на хвилину.
У голубому ситчику княжна.
Їй, звісно, саму першу картоплину.
Не знаю, як кому, а от мені,
Бува, ще й досі ненароком сниться:
Неначе сам печусь я у вогні.
А той вогонь із голубого ситцю.

ЖІНКА

Не з казки, ні, але Людмила.
У хвилі бавилась морській.
Була в чім мати народила —
В сліпучій величчі своїй.
Непоспіхом на берег вийшла.
А там ні вітру, ні людей.
І дві великі спілі вишні

Всміхнулись сонцю із грудей.
З очей сяйнула таємничість.
І брови, ніби заповіт,
Що може тільки Їх величність
Отак дивитися у світ.
Хоч королева й без корони,
Підвладні їй усі краї.
І море хвилі, як поклони,
Кладе й кладе до ніг її.

РОМАШКА

Чи легко на серці, чи важко,
Як близькій, жаданій судьбі,
Німа ворожбитко ромашко,
Шепочуть дівчата тобі.
У лузі, чи в затишку хати
З тобою в тремтливих руках
Їх манить отвіт відшукати
У білих твоїх пелюстках.
Жіноче життя, то як віха,
Поставлена кимсь навмання.
Їх рідко відвідує втіха,
А скрута гостює щодня.
Надію, що долю вже видко,
Що ось вона — сяє добром,
Даруй їм, даруй, ворожбитко,
Останнім своїм пелюстком.

РУДИЙ

Іще змалку в Стьопка рудого
На життя загрози прями.
Всі дівчатка липли до нього.
А чого — не знали й самі.
Вже й доросленьким привередам
Подих зопалу забива.
Липнуть, наче тарілка з медом,
А не Стьопчина голова.
І пішло гулять по народу,
На великий Степанів гнів,
Ніби сам він рудий не зроду,

У грудях похололо:
«Так із Афгану й не вернувсь.
Ледь не продав тебе, Миколо.
Прости й помилуй» — і проснувсь.
Пливло й пливло: окопи, дзоти.
Спекота — кості пропіка.
І присмаливши пальці всоте,
Скурив останнього бичка.

Ти всім підряд куєш, зозуле.
І не збагнути до пуття,
Чи обраховуєш минуле,
Чи прикидаєш майбуття.
І неодмінно може статся,
Що нерозважливість твоя
Століттям обдарує старця
І дулею багатія.
А загудіти у банкрути
Йому захочеться навряд.
Він голову тобі відкрутить,
Щоб не кувала всім підряд.
То чи зберуться навіть з бою
Голосувати в цім краю,
Хай не рукою — хоч ногою
За «бухгалтерію» твою.
Гука майбутнє. Спить минуле.
Зітха душа у гаманці.
Не гнівайся, пробач, зозуле,
За невеселі жарти ці.

ДРЕВНЯ МОНЕТА

У потемнілому кружальці
Дріма давно не чутий дзвін.
І мимо волі гладять пальці
Чиєсь обличчя. Хто ж то він?
Аби надбати злої сили
З підступним сріблом в гамані,
Ножа за поясом носили,

Стрілу отруйну в колчані.
Але й таке засвідчить мушу:
Срібляк, було, з`являвсь тоді,
Щоб воскресити чудом душу,
Закляклу в злиднях і в біді.
І враз відчулося, неначе —
Тремтливе дихає тепло,
Обличчя те німе й незряче
На хвильку раптом ожило.
Чи то на мене глянув строго,
Чи зиркнув сумно у вікно
Божок стемнілий, на котрого
Ніхто не молиться давно.

БАГАТТЯ

Немов не з гілок і сучків,
А з самого глибу можливо,
Похмурого глибу віків
Веселе рвонулося диво.
І знаю, що духа нема,
А бач, причаївсь, як хлопчисько.
Бо диха і диха пїтьма
І тіні хитаються близько.
В якомусь, неначе, сучку
Закляття потріскує сухо.
І я у дикунським стрибку
Лечу крізь гривастого духа.
Лечу, перетнувши межу
Між тим, що було і що буде.
Лечу? Ні, я в кріслі сиджу.
Тверезий і в свято, і в будень.
І жаль, що уже не сяїне,
В сучку таємниче не трісне,
Уже не підхопить мене
Оте божевілля первісне.

І сонце, й люди — згодом все це.
Найпершим я почув биття,
Почув я материнське серце.
Так починалося життя.

Цього, як сну. Не пригадати.
Але я з того не в журбі,
Бо відчуваю — поряд мати,
Й, повірте, заздрю сам собі.
Не треба лжу слізьми кропити,
Що матері давно нема.
Її від мене заступити
Невзможі навіть смерть сама.
І хрест даремно сторожує
Останню тишу й самоту.
Сюди щороку приходжу я
Й самотність рушу, й тишу ту.
Яка б там не долала втома,
Лихе чи добре сотворю,
Про все й на цвинтарі і вдома,
Як змалку, з нею говорю.
Навчився серцем розмовляти,
Бо голос вітер рознесе.
Із відчуттям, що поряд мати
Нехай і скінчиться усе.

ТУМАННІСТЬ АНДРОМЕДИ

Я знаю — долетять.
Терпіння їм і сили
Ні у зірок не позичати, ні в пітьми.
Та не вони, а ми туманність ту відкрили,
І стартували не вони, а ми.
Її коли незвіданим їх дух заволодіє,
І в нову далину благословиться путь,
Од віри нашої, любові і надії
Хоч іскорки у них, а все-таки сяйнуть.
І хай ми будемо для них, як древні фрески,
А чи якесь не розшифроване письмо,
Ми тисячу разів умрем, і знов воскреснем,
І все ж долетимо!

Зоя ГУРБАНОВА

ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

— На, — буркнул молодой человек и небрежно бросил на стол диплом о высшем образовании, — кушай, мама, не обляпайся.

Невысокая худощавая женщина с серым обветренным лицом и грустными бесцветными глазами вспыхнула радостью. Внутри неё назревало неопишное веселье. Ещё бы! Этого дня она ждала долгих шесть лет. Правда, прилив радости мог бы случиться и на год раньше, но вмешался типичный случай — форс-мажор. Егорку за неуспеваемость хотели отчислить из института, и ей пришлось в буквальном смысле слова падать в ноги декану, чтобы сменил гнев на милость и позволил взять академотпуск. Но, теперь, слава Богу всё позади. Несмотря на то, что мысли топтались вокруг брутальной фразы, небрежно брошенной сыном, всё внимание было сконцентрировано только на пластиковом документе, что торжественно возлежал на льняной белоснежной скатерти.

Робко подошла к столу. Тщательно вытерла руки о затёртый старенький фартук. Бережно взяла драгоценную лоснящуюся корочку с голограммой. Долго и внимательно вертела, рассматривала. Затем, прижала к груди и принялась нащёптывать только ей одной понятную молитву, да поглаживать сухой шершавой ладонью, на тыльной стороне которой раздутые синеватые вены вели летопись её жизни.

— Егорка, как я за тебя рада! Поздравляю, сынок! Наконец-то! — ласково произнесла счастливая мать.

— Да уж, отмучился, — небрежно ответил сын. — И знаешь... не кай-фо-нул, — процедил парень, вкладывая в каждую букву вселенское разочарование. А для достоверности брезгливо скривился. Да так, словно речь шла о чём-то мерзопакостном. — Ты мне шесть долгих лет насильовала мозг этим своим высшим образованием. Боже! Какая это гадость!

— Как гадость? Да что ты говоришь? Сейчас без образования никуда. Работодатели совсем озверели. Куда ни поткнись, везде диплом требуют. К тому же — это мечта всей моей жизни — дать тебе то, чего не смогла получить сама.

— Ой, мама, вот только не надо разводить демагогию. За шесть лет она у меня вот здесь, — ответил сын колючим голосом и провёл ребром ладони по горлу.

— Да не нервничай ты так, сыночек. Я тоже рада, что всё уже в прошлом. Это такая выкачка денег. Раздадим долги и, наконец, сможем о ремонте подумать. Квартира совсем запущена.

— Так ты ещё и в долги умудрилась влезть? — вскрикнул сын. — Спасибо за сюрприз, мама. Я думал, у тебя сбережения имеются...

— Да откуда им взяться, сбережениям этим. Сам посуди — за учёбу платила, содержала. Ты у меня мальчик капризный оказался, в общежитии жить не пожелал. Помнишь, как ультиматум выдвинул: «Не снимешь квартиру — институт брошу». А я так мечтала видеть тебя образованным, вот с этим дипломом, — женщина снова погладила документ. — В дни каникул требовал экзотику: море-горы, Крым-Карпаты. Опять же — за мои деньги. Шла на уступки, лишь бы доучился. Все твои прихоти да чудачества оплачивала. А ведь в глубине души надеялась, что ты, сынок, рано или поздно, найдёшь подработку. У Вальки, подружки моей, сын Артём тоже в Киеве учится. Шустрый парнишка. На втором курсе работу нашёл. Говорит, что успевает, что одно другому не помеха.

— А я к нему каким боком? Пусть себе подрабатывает, если есть желание. У меня такой жажды нет! Твоя мечта — тебе и напрягаться! Вот если бы ты другую мечту в жизнь воплощала, тогда может быть... может быть...

— Какую же?

— Квартиру сыну купить не было мечты? Или хотя бы машину достойную. Не умеешь ты жить, мама. И мечтать не умеешь. Столько денег на ветер, да ещё эти твои долги... Достала...

— Так долги не совсем мои. Брала я, а тратил ты.

— Вот только не надо затевать пустословие. Не надо! — юноша уже срывался на крик.

Женщина робко присела на краешек стула. Понимала, что разговор не клеится. И в какое русло он зайдёт неизвестно. За шесть лет студенческой жизни мальчик очень изменился. Стал агрессивным, вспыльчивым. Сейчас он копировал отца.

Муж Светланы — Тарас, за несколько секунд, безо всяких поводов и причин умел организовать грандиозный скандал. А когда вкушал спиртное — вообще крышу сносило. Не единожды с маленьким Егоркой убегала из дому, а бывало,

и через форточку выпрыгивали, благо — жили на первом этаже. Умер в расцвете сил, охнул, ахнул, как и не было человека. Этот тромб похлеще рака! Ни симптомов-звоночков, ни диагнозов-предупреждений, что мол, время пришло — оглянись, остепенись да покайся. Ахнул, вскрикнул и был таков. Егорке тогда ровно семь исполнилось. Тяжело было одной сына поднимать. Ох, как тяжело!

— Сынок, с долгами мы теперь быстро расхлебаемся. Две зарплаты — не одна. За каких-то полгода, год отдадим, — рассуждала женщина, пытаясь утешить сына.

— Это, какие такие две зарплаты? — поинтересовался парень.

— Ну, как же... твоя и моя...

— За меня решила, где я должен учиться! За меня решаешь, где и когда работать. До-ста-ла!- и снова ладонью по горлу. Да с угла в угол забегал — измеряя раздражением комнату.

Женщина по-прежнему сидела на краешке стула. От волнения не знала куда руки пристроить. То поправляла вылинявший трикотажный халатик, то на коленках расправляла фартук, то бережно гладила обласканный в мечтах пластиковый документ. Глаза на сына не поднимала. По многолетнему опыту знала — сейчас лучше не перечить. Вот остынет мальчик, потом и побеседуют. А сейчас повторяла мысленно: «Не кай-фо-нул». Прикидывала, сколько лет ей придётся «кайфовать», выплачивая многотысячный кредит. А и кроме кредита, кому ни «здравствуйте», тому и задолжала.

«Неблагодарные нынче дети», — отметила про себя. Очень хотелось плакать, кричать, да видимо пересох источник. За шесть лет, пока сын учился, всякое случалось.

И плакала, и тужила-горевала, и сама с собой разговаривала. Причём в лицах. За себя и за своего сына. Чтоб диалог был. Как же без диалога! Если монолог, то говорят — дело пропащее, болезнь позорная. Узнает кто — клеймо на всю жизнь. А если диалог — нормально. Вот и пререкалась одна, в пустой квартире. Как будто эти реплики могли облегчить её жалкое существование.

Егор недолго мерил шагами комнату. Остановился, задумался, словно вспомнил что-то важное. Затем принялся энергично распаковывать коробки, что привёз домой из Киева, со съёмной квартиры.

Торжественно извлёк из упаковки компьютер, установил его на письменный стол, в своей комнате и... хлопнул дверью

да с такой силой, что лутки задрожали, давая матери понять, что вход на его территорию запрещён. Включил компьютер и растворился в виртуале.

От оглушительного стука Светлана подпрыгнула на стуле. В её квартире всегда присутствовало безшумие и безмолвие. За исключением тех дней, когда слёзы к диалогу взывали. И двери давно уже так не стучали. Ой, давно.

Посидела ещё немного. Полюбовалась ламинированной мечтой. Но за мечту платить надо. И платить ещё много. Взглянула на часы. Пора на работу!

Работала женщина за троих.

Ночью месила тесто и пекла пирожки. С картошкой, капустой, повидлом.

К восьми утра спешила на рынок, где работала реализатором и попутно продавала свою сдобу. Пекла вкусно, поэтому раскупали быстро. Даже иногда были заказы. Чаще всего на похороны да на поминки. К трём часам спешила в продуктовый магазин, что располагался в соседнем доме. Мыла окна, двери, а ближе к закрытию – полы. Около девяти вечера приходила домой и падала замертво. Но ненадолго. Отдышавшись от марафона, брала ведро, тряпку, надевала перчатки и шла мыть подъезды. Ровно в полночь волокла домой безжизненное тело, но не спешила распластать его на кровати. Снова месила тесто....

В этом круговороте жила уже шесть лет... Закрутилась так, что иногда проснувшись от кратковременного сна долго не могла сообразить куда ей бежать – на рынок, в магазин, или хватать вёдра и начинать снова елозить этажи.

После возвращения дипломированного сына прошла неделя. Он, как заперся в своей комнате, так, казалось, никуда и не выходил. Если бы не съеденные обеды, что вкусно и старательно готовила Светлана в редкие минуты, предназначенные для отдыха, то можно было бы думать, что сын по-прежнему в столице. Не разговаривала с ним, не виделась. Заглядывала несколько раз – днём и среди ночи – видела только спину, согнутую за столом, перед компьютером.

К концу недели решила поговорить с Егором, да и случай подвернулся.

Вылизала тряпкой все ступеньки в двух подъездах, домой вернулась еле живая. От физического истощения бил озноб. Очень хотелось есть. Попыталась найти что-то съестное на кухне – тщётно. Егорка подобрал всё. Те запасы продуктов, что раньше ей хватало на неделю, теперь уничтожались за

пару дней. С получением диплома ничего не изменилось. По-прежнему нужно было содержать сына и самостоятельно отдавать долги.

Обида вцепилась в горло. Ни выдохнуть, ни крикнуть. Еле совладала. С обидой вести борьбу — победителей не знать. С сыном воевать — побеждённых не ведать.

Решила — хватит! Парень взрослый — пора на свой хлеб отпускать.

Да вот беда — отпустить можно того, кто идти желает.

У Егорки желаний не было.

Вошла в комнату парня, когда уже перевалило за полночь.

Сын ожесточённо бил по клавиатуре. Изощрялся работать десятью пальцами, при этом нажимая на все без исключения клавиши. Мелькнула мысль: «Бетховен. «Ярость по поводу утеряннного гроша». Это рондо немецкого композитора Светлана слушала не единожды. И сейчас её сын напоминал ей музицирующего пианиста. Правда, с некоторым отступлением — лицо втиснулось в монитор, волосы взъерошены, взгляд одержимый. Глазами ожесточённо отслеживал путь какого-то мультяшного уродца, который ревел и хаотично двигался, убивая всех на своём пути. Присутствие матери Егор заметил только тогда, когда женщина закрыла рукой экран, чтобы обратить на себя внимание, так как на окрики сын не реагировал.

Юноша взревел от негодования.

— От-ва-ли! Не до тебя сейчас. Уйди! Завтра поговорим. Завтра, сказал!

Говорил, словно рычал. Повернул к матери лицо. Женщина от страха отпрянула. За компьютером был вовсе не её сын. Рядом сидел оборотень, который своим оскалом предупреждал о нападении. Впервые Светлане стало жутко. Ретировалась мгновенно. Перед глазами ещё долго виделось нечеловеческое обличие.

Прошла ещё неделя.

За ней следующая.

В жизни семьи Никитиных ничего не менялось.

Только вездесущие знакомые всё норовили узнать подробности: «Устроился ли сын на работу? На какое предприятие? С каким окладом? Помог ли столичный диплом?»

Вопросов было много, но с ответом большая проблема...

Очень пожалела Светлана, что обмолвилась о приезде сына.

Если бы не проговорила, не было бы расспросов.

Каждый наступающий день был похож на предыдущий.

Егор день и ночь исполнял компьютерные симфонии. То четырнадцатую сонату «Лунную» наигрывал, то в такт двигающемуся на мониторе чудовищу отбивал клавишами «Реквием по мечте». Очень копировал Бетховена. Иногда выходил из комнаты, но только для того, чтобы попросить мать купить сигарет, пива или чего-то вкусенького. Покупала.

Однажды выбежал с сияющим лицом. Обнял Светлану, закружил по комнате. Удивилась женщина: «С чего такие нежности?»

— Мама, я выиграл! — крикнул ликующе. — Выиграл!!!

Женщина еле на ногах устояла. Села на диван, оперлась на спинку, глаза в потолок и тихо прошептала: «Ну, слава тебе, Господи! Может, и долги теперь отдадим. Ремонт сделаем. Дождалась помощи».

Егор вмиг изменился в лице. Посмотрел на мать строго.

— Я что-то не то сказала? — робко спросила мать.

— Какие долги? Ты что плетешь? Или совсем уже заработалась?

— Так выиграл же... Квартира прохудилась ... — еле слышно бормотала.

— Мама, я сумочку выиграл. В ней меч и доспехи. Теперь я главный, понимаешь? Главный...

— А меч-то нам на кой? На кого войной идти будем? На кредиторов разве что? Егорка, сынок, куда ты эти доспехи носить будешь? Тебе бы костюм приличный, чтоб на собеседование... да плитки кафельной квадратов двадцать... Сынок, меч нам ни к чему, точно говорю тебе, — округлив от удивления глаза, рассеянно шептала женщина. — Ты своему компьютеру так и скажи: пусть доспехи на что-нибудь полезное заменит...

— Мама, не шелести, прошу тебя. Нет тебе цены, когда молчишь. А когда много текста — отстой конкретный. Стыдно за тебя, честное слово. Отстала ты от жизни. Знаешь, мне не о чём с тобой говорить... — Егор брезгливо скривился, махнул в сторону матери рукой, словно то и не мать вовсе была, а пустое место.

Светлана молчала. Смотрела на своего взрослого сына и не понимала, здоров ли? Всё ли в порядке с головой? Может, сглазил кто или позавидовал?

Ушла в свою комнату. Заперлась. Хотелось рыдать, но слёз уже давно не было. Пересох родник. Хотела поговорить в лицах, как делала раньше, — не говорилось. Слова застревали в горле. Искала в комнате спасение, вымеряя её периметр. В мыслях одно слово — «порча».

К тем обязанностям, что у Светланы уже имелись, добавилась ещё одна. Искала знахарей, экстрасенсов, шептух, что снимают сглаз. Куда только за помощью не обращалась. К каким ведунам-целителям не ездила. Тщётно. Одни просили одежду Егорки привезти. Возила. Другие жаждали личного контакта. Доставляла их домой, рекомендуя сыну, как друзей и знакомых. Те блуждали квартирой — медитировали-шаманили, но... разводили руками, да заверяли, что порча в запущенной стадии. Результата не было. Долги росли.

Полгода в борьбе с проклятьем, совсем истощили Светлану. И раньше она не светилась здоровьем, не излучала благополучие, не носила лишний вес, а теперь и подавно. Худая, сутулая, на лице скорбь да печаль в глазах. Знакомые интересовались: «Не больна ли?»

Сдобу перестали покупать. Брезговали. Шептались за спиной, что, мол, у неё онкология. От того сухая да бескровная.

Когда уже совсем руки опустились в борьбе за судьбу Егорки, Светлана не выдержала и всё рассказала подруге Наталье: «Творится с сыном что-то неладное. Живёт, как растение. Из комнаты не выходит, ни с кем не общается, ничем не интересуется. Целыми сутками в игры компьютерные играет. Что намерен выиграть — непонятно. Если бы есть не просил, думала бы, что по-прежнему одна живу». Приятельница только руками всплеснула: «Беда-то, какая! Не сглаз это и не порча. Это хуже алкоголизма, сквернее наркомании и страшнее прочей другой заразы. Лечить его надо, Егора твоего. Игромания у него — болезнь современная».

Долго перед сном в тот день думала Светлана про хворь невиданную. Думала-гадала, где мог Егорка подцепить тот проклятый вирус. Хотя, в городе-миллионнике — это запросто. В ту минуту обнаружила в себе вселенскую материнскую ненависть к столице и к учебному заведению, за то, что в приложение к диплому такую свинью подложили.

Теперь у Светланы снова появилась мечта. Она выросла в душе на месте той, что уже осуществилась. То ли почва оказалась благодатная, для всхожести новых мечт пригодная, то ли такой он и есть круговорот жизни, что без мечты никак. Только теперь грезила Светлана вырвать сына из лап компьютерных. С горечью осознавала, что за шесть долгих студенческих лет это чудо-техники крепко прибрало к рукам волю её единственного сына. Понимала своим материнским чутьём, что ламинированный диплом, стал для её семьи

пропуском в преисподнюю. Словно затравленный зверь металась в поисках выхода из захлопнувшейся западни.

И так подходила к сыну с разговорами и эдак. Намекала да уговаривала, строжила да прикрикивала. Вразумить пыталась да предостеречь. Ответ один: «Много текста...»

Отныне жизнь Светланы приобрела новое эмоциональное наполнение. Нужно было срочно для Егорки искать лучшего психоаналитика. Чтобы при помощи своих незатейливых психологических ухищрений внедрился в мозг юноши и поменял местами установившиеся приоритеты. Чтоб отвадил от экрана компьютерного и привил интерес к людским ценностям.

Через несколько дней пришла подруга, разложила на столе газету, ткнула пальцем: «Вот, читай. Думаю это то, что нам надо!»

Светлана торопливо водрузила очки на переносицу:

«Зависимость от компьютерных игр (кибераддикция) — сложная проблема современного общества. Это тяжёлый недуг, который формируется постепенно.

Если вы заметили, что ваш родной человек вместо реальной жизни предпочитает виртуальную, если отлучается от экрана только для того, чтобы решить свои физиологические потребности, если садиться к компьютеру не «после» работы, а «вместо», значит вы нуждаетесь в нашей помощи.

Самостоятельно излечить больного не удастся, поэтому настойчиво рекомендуем вовремя обращаться к специалистам. Не стоит надеяться на счастливый случай.

Помните: если больного кибераддикцией силой оттащить от компьютера на несколько часов, то у него начинается абстинентный синдром (ломка), который характеризуется рядом соматических и психологических расстройств (дрожание, потливость, учащенное сердцебиение, депрессия, расстройство сна, ярко выраженная агрессия).

И только лучшие специалисты нашей клиники смогут провести сеансы психотерапии, а также обеспечить медикаментозное лечение с обязательной госпитализацией больного».

— Это мой случай, — произнесла грустно, — не после работы, а вместо.

— Вот и я говорю, — подключилась Наталья, — звони, узнавай, что мы теряем?

— Всё напрасно. Он не согласится. Я уже предлагала лечение. Знаешь, что он мне сказал? — «Мама, это ты больная, причём на всю голову». Вот такие пироги, подруга.

— Не хочешь, я сама позвоню, — сказала, как отрезала Наталья и решительно набрала номер, выделенный в статье жирными цифрами.

— Ну, и как вы намерены госпитализировать, если больной себя таковым не считает, — спросила вместо положенного приветствия.

— Принудительно, — так же, не церемонясь, ответили с клиники с громким названием

«Кибер.net»

— А подробнее, — настаивала Наталья.

— Наши санитары обладают уникальным даром убеждения.

— И сколько стоит такое счастье? — продолжала настырная женщина.

— В рамках социальной программы — бесплатно.

— И как попасть в эти рамки?

— Если забираем больного сегодня — легко. Если завтра — никак.

— Записывайте адрес, — торопливо диктовала Наталья.

Светлану от неожиданности в жар бросило. Фартуком лицо протирает, да приговаривает: «Как сегодня? Не может быть... Я ещё не решила... Что я Егорке скажу? Не мешало бы разузнать, что за репутация у этой клиники... Хороши ли доктора? Таки сына единственного в их руки вручаю...»

— Потом, всё потом, — отмахивалась подруга. Главное Егора пристроить, пока места есть. Ты мне ещё спасибо скажешь.

«Скорая» к подъезду Никитиных прибыла ровно за семь минут.

Удивилась Светлана, выглянув в окно. Ровно три дня тому к соседке по поводу сердечного приступа «неотложка» ехала пятьдесят минут. А месяцем раньше приятельница с аппендиксом ждала помощи один час и десять минут. И это при том, что бригада врачей должна была отреагировать незамедлительно, во избежание риска развития перитонита. Но, как говорится, всё в этой жизни относительно.

«Мало ли кто к кому приехал», — мысленно успокаивала себя Светлана.

— Наталья, — обратилась к подруге, нервно расхаживая по кухне, — не нравится мне эта затея. Санитары, клиника, стационар. А вдруг это только уловка такая, что мол государственная программа, а по окончании лечения мне такой счёт выставят, что квартиру продавать придётся. Шарлатанов в наше время пруд пруди. Хорошо, если лечение эффективным окажется. А если...

Но договорить женщина не успела. В дверь настойчиво звонили.

– Не открывай! – только и успела крикнуть. – У меня плохое предчувствие!

Крикнула, да опустилась на стул, обе руки к левой груди прижавши.

У подруги своё на уме. Впустила спасателей душ людских.

В квартиру вошли два санитара. Рост под два метра, косая сажень в плече, в спецовках с надписью «Кибер.net».

– Где больной? – спросили дуэтом.

– Там, – махнула рукой подруга, указывая на дверь Егоркиной комнаты.

Санитары-гориллы с уникальным даром убеждения за пару шагов стояли возле компьютера Егорки.

Егор жил жизнью своего кибергероя, который не взирая на препятствия, шёл к победе. Сегодня был его день! Ещё немного, буквально несколько движений, и он – на пятом уровне. Его герой – стратег и тактик, умён, изворотлив, а главное беспощаден. Крушит всё и всех. Расчищает себе дорогу да рычит угрожающе: «Преступай законы, нарушай порядки! Сохранись и вновь играй!»

Когда тяжёлая ладонь легла на его плечо, отмахнулся, как от назойливой мухи.

– Отстать! – прорычал, подражая своему кумиру.

За несколько секунд руки парня были вывернуты за спину. В полусогнутом состоянии, с низко опущенной головой санитары вывели его из комнаты.

– Что происходит? Суки! Мама, помоги! – кричал Егорка.

Светлана плакала на кухне, а Наталья суетилась около горилл – открывала входную дверь, провожала к машине.

Вернулась через несколько минут. Подсунула расстроенной женщине договор: «Вот, сказали немедленно подписать здесь и здесь!» – положила на стол ручку и пальцем ткнула, где подписывать.

– Что это? Как же не читая? – робко спросила.

– Да что читать? Что читать? И ежу понятно – это твой шанс спасти сына. Ради него, ради Егорки, черкни.

Светлана долго колебалась. Тщётно старалась разглядеть хоть несколько слов в договоре. Но то ли шрифт был слишком мелким, то ли глаза слезами запорошились. Ничего не разглядела. Поддалась на уговоры и подписала. Ради сына. Всё в этой жизни ради него, единственного.

Когда всё закончилось, всполошилась. Куда Егорку увезли – не спросила. Где искать, когда проводывать? Почему не

посоветовали вещи личные собрать? Ах, да, их нужно привезти потом. Но куда?!

Долго искали вдвоём с подругой в тексте объявления адрес учреждения. Тщётно.

Сделали звонок в клинику. Ответ получили исчерпывающий: «Медицинская тайна. Разглашению не подлежит. Клиента вернут по окончании лечения».

— Знаешь, поздно уже, пойду я, — решила ретироваться Наталья.

— Иди, подруга. Ты своё дело сделала. Подсобила крепко, — ответила вместо прощания Светлана.

— Чем могла, подруга, чем могла, — шептала, пятясь к двери.

В кабинет профессора Воронцова постучали.

Мужчина, лет пятидесяти, сидел ссутулившись за письменным столом и сосредоточено делал записи в блокноте. От неожиданного негромкого стука слегка вздрогнул. Выпрямил спину, насунул очки на самый кончик носа и, глядя из-под лба, крикнул: «Войдите!»

В кабинет вошёл один из санитаров.

— Николай Иванович, есть новый клиент.

— А толку?

— Не отчаивайтесь. Клиент очень хороший. Геймер с шестилетним стажем.

— Ну, что ж, пойдёмте, посмотрим, — сказал профессор и встал из-за стола, с грохотом отодвигая стул ногой.

Мужчины вышли из кабинета.

— Какая палата?

— Как всегда — 9. Там изоляция хорошая.

— Сопротивлялся?

— Ещё как!

— Ну, это пройдёт.

— Я ему так и сказал.

— А он что?

— Судом грозит.

— Что с договором?

— Подписан.

— Отлично.

Профессор вошёл в палату, где на кровати лежал Егорка. Его руки и ноги были цепями прикованы к металлической спинке кровати. На лице ссадина, из уголка рта сочилась тоненькая струйка крови.

— Ну, молодой человек, здравствуйте! Как вы себя чувствуете?

— Чувствую, что возникло непреодолимое желание
врезать вам в дыню.

— О! Юноша, у вас шалит гипоталамус. Для того вы здесь
и находитесь, чтобы сменить мотивацию, избавиться от
эмоциональной зависимости и в конце, концов, стать
полезным обществу, — сказал профессор, прохаживаясь по
палате. Затем резко остановился, и спросил: «Так сколько вы
говорите у вас лет геймерского стажа?»

— Шесть, — сквозь зубы процедил Егорка.

— Отлично, — вяло улыбнулся профессор и обращаясь к
санитару, дал указания: «Ну, что ж? Картина ясна. Пациент
нам подходит. Значит так: анализы, полное обследование.
Дня за три, думаю, управитесь. И, готовьте на пятницу
лоботомию. В принципе, всё, как всегда».

Санитар покорно кивал головой, а Егорка, корчась изо
всех сил, пыгался освободиться.

— Вы это напрасно, — обратился к нему профессор. —
Поберегите силы, они вам ещё пригодятся.

После утомительного дня профессор Воронцов
возвращался домой. Нехотя достал из кармана ключи. Два
раза щёлкнул замок. О чём-то раздумывая потоптался у
двери и только после длительной паузы ступил в прихожую.

— Я дома, — произнёс он традиционную реплику,
которую неустанно повторял более двух десятков лет.

Из спальни вышла женщина, с понурым выражением
лица.

— Ну, что тут у вас? — спросил профессор.

— Без изменений, — ответила женщина.

— Сидит? — спросил снова.

— А ты как думаешь? Коля, ты же обещал. Ты же врач,
Коля. Который год без результата, который год! — женщина
спрятала лицо в ладонях и заплакала.

— Не стоит плакать. Успокойся, умоляю. Осталось совсем
немного. Кстати, у меня хорошие новости, — подбадривал
Воронцов, обнимая женщину.

Они прошли в кухню.

Женщина поставила чайник, а мужчина рассказывал:
«Людочка, поверь, скоро всё закончится. К нам сегодня
поступил замечательный клиент. Шесть лет стажа. Молодой
парень. Агрессия — зашкаливает. Типичный случай. В
пятницу проведу префронтальную лоботомию. Я посмотрю
в глаза этому гипоталпмусу, найду этот чёртов центр
удовольствия, и заставлю его работать правильно. Вот где
он у меня уже», гипоталамус профессор вытянул вперёд

руку, широко растопырил пальцы и мгновенно сжал в кулак, да с такой силой, что вены посинели и раздулись.

— Если всё пройдёт как надо, буквально через неделю наши беды закончатся. А сейчас походи, скажи Илье, что я вернулся, — ласково произнёс он.

— Думаешь, отреагирует? — спросила женщина.

— А вдруг?

Женщины вышла с кухни. Через несколько секунд из отдалённой комнаты большой профессорской квартиры послышалось грозное рычание: «Уйди! Сколько тебе раз говорить? Что вы все ко мне лезете? Закрой дверь с той стороны!»

Профессор, услышав голос единственного сына, мгновенно сжался, съёжился, осунулся.

— Не буду чай, — буркнул еле слышно и ушёл в спальню.

Пятница пришла незаметно. Егорка ни на минуту не оставлял попытку улизнуть, но цепи были крепки. Его кормили с ложки и приносили судно. Он пытался кричать и что силы звал на помощь. Помощи не было. Было невыносимо больно и обидно. Там, в уже родном для него виртуальном мире он был всемогущ и беспощаден, он крушил и громил все преграды и препятствия, он был лучшим, он был главным. А здесь... Беспомощность и несостоятельность, бессилие и безволие.

— Боже, я ненавижу этот мир! — крикнул он в сердцах.
— Верни меня обратно!

— Людочка, — звонил домой профессор, — операция прошла успешно. Я всё сделал как надо: заменил приоритеты, поработал с мотивацией, разобрался с центром. Если всё пойдёт, как надо — через недельку всё разрешится.

После операции с Егора пылинки сдували. Кормили, поили, разрешили принять душ. Парень постепенно приходил в себя. На пятый день его привели в комнату, где стоял компьютер.

— Играй, — строго сказал профессор.

Егорка подошёл к монитору, долго на него смотрел, осторожно коснулся пальцем, но тут же одёрнул руку и спрятал за спиной. Несколько раз указательным пальцем нажал на клавиши.

— Стучат, — произнёс, улыбаясь.

— Играй, — громко приказал Воронцов.

Но Егор уже его не слышал. Он подошёл к окну, долго

рассматривал жалюзи, увидел на стекле муху и принялся её ловить.

– Играй же, – выходил из себя профессор.

– Дядя кричит. Егорка плохой мальчик? – спросил Егорка и заплакал.

Профессор вышел из кабинета, громко хлопнув дверью.

Его разочарованию не было предела. Тридцатая операция. Три года жизни. Сотни бессонных ночей. Стопы прочитанных книг. У него было всё – опыт, возможности, знания, теория, практика. Всё! Кроме результата.

– Я дома, – произнёс раздражительно, бросая портфель под ноги. – Всё к чёрту, – ответил жене на вопросительный взгляд.

– Что будет с Ильёй? Сегодня снова целый день просидел за игрой.

– Пусть играет. Может, надоест когда-нибудь. Знала бы ты, какой коварный этот гипоталамус. Ну его, – отмахнулся и пошёл спать.

Егорку и правда доставили домой, как и обещали. Те же санитары, поддерживая под руки ослабевшего парня, ввели в квартиру. Увидев сына в таком состоянии, Светлана разрыдалась. Бросилась с кулаками на горилл. Плачет да прокуратурой угрожает.

Один из санитаров поднёс к глазам женщины огромный кулак, в котором был в трубку скручен договор. Ткнул в лицо кулачище да крикнул басом: «На, почитай. Мы условия договора выполнили. В игры больше играть не будет. Проверено. И подпись твоя стоит, мамаша, шо претензий не имеешь».

Ещё громче вскрикнула Светлана. И где та Наталка взялась со своей газетой.

– Шарлатаны, одни шарлатаны, – шептала, всхлипывая женщины.

Егорка, с трудом делая шаг за шагом, двигался по комнате. Подошёл к столу, взял в руки газету, потряс нею возле уха, сосредоточился.

– Шур-шит, – сказал по слогам, обращаясь к матери, и глупо улыбнулся.

Светлана медленно опустилась на пол. Сознание оставило её.

ПОЭЗИЯ

Ольга ЮРЛОВА

«Научи меня, Господи, жить!»

Руки пахнут ладаном и воском.
Жертва Богу — сокрушённый дух.
Извилась моей свечи причёска,
отлично от соседних двух.

Плавно, исковерканная ложью
жизнь стекает кружевом вины,
по великой милости, по Божьей,
слёзы смертной памяти даны.

Предстоять и плакать, очищаясь,
избавляясь пагубных нажив.
И просить прощения, прощая.
И прощая, и прощая! жить.

Ты первым хочешь быть? Среди кого?
На всём пространстве призрачного счастья
ты не найдёшь ни горя, ни зловластья,
а если и найдёшь, то что с того?

Не пройден путь до смертного одра,
и час ухода никому не ведом.
И лучше уходить за кем-то следом.
Ты первым хочешь быть? Тогда пора!

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Непроизвольно вырвалось: «Родина!»
Остановилась. Молчу.
Май на дворе. Мною с детства усвоено:
«майские» — вот и кричу.

— Мальчик, другое совсем поколение,
что ты так смотришь? Иди!
Тётя вдруг вспомнила дедушку Ленина
и, что фашисты — враги.

Мальчик, иди и играй в Шварценнегера!
Что ты устался так?
Тётя не пьяная, тётя не вредная.
Этот платок? Будто флаг!

Хочешь отдам? Пригодится для Робина.
Мне он не нужен, возьми!
Тряпочный символ, представь — это «Родина»,
можешь карать и казнить.

Пусть, как в кино, всё взлетает и рушится,
дуй свою жвачку. Сильней!
Джинсовый мальчик, торчащие уши,
Родиной будешь моей?

Ветер у дороги обласкает,
на прощанье пылью обнёсет.
Доченька ни в чём не упрекает,
на прощанье дарит василёк.

Сяду в переполненный автобус,
улыбаясь, слёзы облизну.
Кончился мой вдохновенный отпуск,
надо снова пополнять казну.

Василёк, оставленный в кармане,
символ боли предстоящих дней.
Бабушка её опять обманет,
скажет: «Завтра мы поедem к ней».

Вырастет моё дитя без мамы
и без папы, вырастет себе.
Василёк, засушенный в кармане,
не принадлежит уже траве.

Так влюбляются, милая, слышишь!
И писать начинают стихи,
и других забывают мальчишек.
Дни бездумны, хмельны и легки.

И зовёт неизвестность в дорогу,
и берёзовый сок, как вино.
Только светит печально и строго
одинокое чьё-то окно.

Поцелуи, рассветы, туманы.
Как в романах: любима, люблю...
За окном ожидание мамы
охраняет невинность твою.

КЛЁН

Из отчего дома,
внезапно, уехали мы.
Менялись квартиры
на лучше и больше, престижней.
А мне всё казалось, что Клён мой
дорос до Луны,
и я не узнаю его,
если только увижу.

Он вырос стихийно,
никто его там не сажил:
под плотным,
высоким забором.
С балкона, сначала
я просто следила за ним,
по-детски, с задором.
Он выстоял, выгнулся
и напрямик,
макушкой, упорно
старался, как будто
быстрее расти,
коснуться балкона.

И чудо случилось!
По осени, после дождя,
я вышла, прищурясь,
вдыхая прохладное солнце,
взглянуть, как там Клён.
Клён, волнуясь, смотрел на меня,
и мне показалось,
смеётся...

Спилили его.
Он другим загораживал свет.

Туда, где он рос
допустили репей и крапиву.
Я отчому дому,
сквозь слёзы,
открыла секрет –
дневник пролистала ревниво.
До дней,
где хранился осенний привет
от юного Клёна.
Совсем не смеялся тогда он,
нет-нет!
Он плакал,
влюблённо.

Неосудное время творит чудеса:
станет чёрная белой у мамы коса,
станет внучка качать на коленях мальчика,
а сосна станет выше у крыши венца.

Соберётся семья за столом ввечеру,
дети будут мешать, продолжая игру,
будет литься беседа без края-конца,
будут смех и веселье от капли винца.

Неосудное время на всех парусах,
пролетает в однажды рождённых часах,
только память ребёнком стоит у крыльца,
крепко за руку взяв дорогого отца.

Песочные часы сдались без боя,
бездумно и безвольно истекли.
Я дедовы глаза сейчас закрою,
не дописав ему всего строки.
Он очень ждал, но так и не увидел,
как плачу я,
и не пожал руки.
В молчании унёс свои обиды,
а я не дописала лишь строки.
Лежит листок ненужный на коленях.
Ненужный, кроме деда, никому...

Я называла деда дядя Женя
и не садилась вместе с ним к столу.

Провинция реальная, неспешная
декабрьским утром скрипнет и вздохнёт.
Судьбинушка здоровая, безгрешная
в шалюшке под окошком, у ворот
кидает снег.

Пылают щёки розовым,
алеют губы в белой пелене;
непуганый снегирь на сук берёзовый
слетел, оставив стаю в стороне.
Смешная жизнь, смешная и желанная!
На лапах сосен снегу — только тронь!
Из бани выйдешь — и готова ванная,
И снежный душ лови, не проворонь!
А тишина! Безудержно-хрустальная.
Сквозь шелест ветра вдруг — церковный звон.
«Любовь моя — душа провинциальная!» —
мурлычет сердце, чувству в унисон.

Запаха живительный глоток:
— Здравствуй, позабытое жильё!
Серый облетевший потолок,
пёстрое дешёвое бельё.

Вьюн разросся —
с пола до плиты
разбросал кленовую листву;
белые «невестины» цветы
повернули личики к окну.
Не хватает вроде бы кота,
но на старом кресле виден пух;
календарь оборван.
Свысока,
ходики умамливают слух.
Пианино у стены блестит,
а на нём, под лентою, портрет,
где мой друг, который был убит.
С той поры прошло немало лет.
Три иконы высоко в углу.
Я им тоже кланялась не раз,
умоляя Бога и судьбу,
возвратить ушедшего для нас...
Чайник лихо свистнул и притих,
чутко скрипнув, приоткрылась дверь,
на столе, накрытом для двоих,
рюмочка под ломтиком потерь.
— Наливай и выпьем за любовь,
за любовь, которая жива.
Перед Небом ты — моя свекровь,
перед Небом я — его жена.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЭТЮД

Нерасшифрованных надежд
неодолимое влечение,
души тревожное течение
по неизученной воде
над незнакомым отраженьем
давным-давно забытых дней,
обжитых памятью твоей
и одиночеством вечерним.
Над временем не властны мы
и все же кратко им владеем,
но с каждым годом холоднее
жить потеплением зимы.
Подумаешь, что, вот, ещё
кому-то очень-очень нужен —

откроешь дверь...
а там лишь стужа,
и путь луною освещён.
Тогда решишь, что надо быть
среди людей, таких же точно,
оденешься, как будто срочно,
и важно выйдешь из избы...
Прикосновением одним,
всего лишь мимолетным вздохом
ты дашь понять о том, как плохо
считать опущенные дни.
И долгим будет разговор
ваш накануне расставанья.
Два человека-изваянья.
Окно. Луна. Тропинка. Двор.

Мы не ведали дедов,
не знали отцов,
мы себе их придумали,
и не жалелось:
отсечённые корни
отцов-беглецов,
бесфамильное тело.
Наши матери
тихо сходили с ума,
забывая своё назначенье,
повторяя, как заповедь:
«Что нам тюрьма да сума,
деньги делают поколенья!»

Мы не ведали правды,
но сердцем глухим
обрели сокровенное зренье:
мы стоим,
перед Всеми Святыми стоим,
за Россию стоим —
на коленях!

Ищи свои выгоды?!
Мир,
ты сходишь,
слетаешь с орбиты!
Куда ни взгляни:
неон и эфир,
плакаты заглянцевелые
чисто помыты,
журналы витринно-наглядно
диктуют тело:
беспечно, умело, нагло и смело.
Где же Вы, Владимир
(имеется ввиду Маяковский).
Профессора,
наденьте «очки-велосипед»,
скажите правду:
«поколение NEXT» — бред!
Булгаковский иллюзионист
правит балом,
и ему всё мало,
и я от иллюзий устала.
Город — моя пустынь —
грустно.
Дети, бредущие в школу
с тяжёлыми рюкзаками —
скоро с флешкой в кармане,
разница-то какая?..
Что несёте вы в будущее,
милые мальчики и девочки,
мимо ларьков и киосков
в ночи,
мимо неоновых выбросов
словесной дури.
Дойдёте ли?
Успеете ли понять,
где и когда
вас обманули...
.....
Звоните, храмы, по Руси,
звоните громче!
Беспроводную сеть молитв
читайте, отче!

Лепи народная душа,
игрушку-дымку,
точи матрёшку
и пиши на ней картинку.

Плетите, бабы, кружева
к пелёнкам белым.
Рожайте, матери, детей
по десять, смело!

Нам Чудотворец Николай
во век — защита,
Великорецкая, видать,
сильна молитва.

Расти, энергия добра,
тепла и света,
от неба, леса и реки
земного лета.

Звоните, храмы, по Руси!..

ЛЮБОВЬ

Научи меня, Господи, жить!
Чтоб не так, как живу сейчас,
чтоб тебе каждый миг служить,
чтоб тобой каждый день венчать...
Мимо, мимо идти людей,
и не ведать значенья их,
и Тебя узнавать везде
(пусть и лют человек, и лих),
и по Образу Твоему
строить дом, и семью, и мир...
Неужели не быть тому?
Научи прошу, не томи!
Ты велик и неведом мне —
укажи где путь, и пойду,
станет мизерное крупней,
и неверное — на виду.
Дай почувствовать раны Твои
через многие веки вех,
и принять Твоё Слово и...
Хватит ли Одного на всех?

Анатолій СТОЖУК

ЩИРА РОЗМОВА З БОГОМ І ЛЮДЬМИ

В історії Русі-України вже так повелося, що православне віровчення і духовність завжди йшли поруч. Намагання розширити рамки впливу на паству, донести до неї ідеї християнських цінностей широко використовувало духівництво упродовж понад тисячу літ. Тож ідеї ці ставали благодатним ґрунтом, на якому проростали національні звичаї, народні традиції, зрештою мораль як внутрішній закон.

Сплеском таких виправ рясніють XVII–XVIII століття, на тлі яких яскравими зірками сяють імена Григорія Сковороди, Семена Климовського, Степана Писаревського, Григорія Квітки-Основ'яненка...

Тяглисть історії знаходить своє підтвердження і в наш час. Здається, у літописах українського Православ'я за останні піввіку було небагато священиків-письменників і ще менше їх серед тих, хто оприлюднював свою творчість. Тривалий час Церква була відокремлена не тільки від держави, а й від повнокровного суспільного життя, яке не передбачало публічної діяльності священика, окрім церковних відправ і справляння нечисленних треб.

Отже, збірка поетичних творів «Подих серця до Творця» належить перу найстарішого за віком на теренах України архієрея Православної Церкви, Митрополита Харківського і Богодухівського Никодима (1921–2011). У своєму чотиритомнику Митрополит Никодим розповідає про свій земний путь, устремління і прагнення, сподівання і розчарування, бачене і пережите... І одразу ж можна виокремити найхарактернішу рису у творчості Владика — людинолюбіє, мудру проникливість у зачасний і таємничий світ людської душі, її протистояння силам зла і мороку. Автор уміє про складне говорити просто і зрозуміло, висновувати думку чітко і ясно.

Перший, другий та третій томи побачили світ упродовж 2003–2005 років. Четвертий том був підготований до друку за декілька місяців 2005 року. Тобто — більш ніж один том на рік. Це зайве свідчення того, що маємо справу з потужним

письменником, який працює не тільки за покликанням, а й наполегливо, цілеспрямовано, покладаючись не на натхнення, яке безплідне без наполегливої праці, а на мозольний труд, коли «два перста пишуть, а все тіло болить». До такої подвижницької праці Владикау Никодима спонукає і притаманне йому з молодих літ відчуття надзвичайної відповідальності перед Богом і людьми: «Ночами Дух Божий мене вдохновляет. // «Берись и пиши, — таинственный голос мне говорит, — // Ибо дни коротки, а время не ждет».

За довге і велике життя Митрополит Никодим приробивав мудрості і розуміння речей стільки, що зрозумів: аж ніяк не можна не поділитися з іншими.

Його поезія — ніби сокровенна молитва за всіх суцхих, за наш народ, за нашу Церкву, і однозначно ця Церква — українська. Владика жив Україною і для України. Ставити це під сумнів недоречно, адже відповідь на кожній сторінці, у кожному рядку. В одному з віршів автор-священик виголошує: «Воскресла Україна, щоб жити у віках», в іншому — «Я син твій, Україно моя рідна». Поезія Митрополита Никодима переконлива, насамперед, тим, що автор сам глибоко вірить у те, що стверджує. Жодної фальшивої ноти, найменшого натяку на лицемірство. Довірлива розмова рівного з рівним.

Своїм архіпастирським трудом Митрополит Никодим утверджує сповідувані життєві принципи, які стисло можна визначити так: не посоромити своїми ділами народу свого перед іншими народами.

Так було в далекій Аргентині, у Духовній Місії на Святій Єрусалимській землі, на Костромській Кафедрі, зрештою на рідній українській землі...

Але спочатку було навчання в Московських Духовних школах, служіння в столичних храмах, зокрема в Свято-Скорбященському на Великій Ординці та Слоховському Богоявленському Патріаршому Соборі. Так приходило розуміння Великої єдності і нерозривності Православ'я. А напутнє слово Архієпископа Ярославського і Ростовського Никодима (Ротова) під час Архієрейської Хіротонії Никодима (Руснака) стало оберегом на все життя. «Єпископ Церкви — це історія Церкви і народу, яку ти відтепер, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи те, писатимеш свою архієрейською діяльністю». Ось ці слова стали святим дороговказом у подальшому житті. І, здається, Митрополит Никодим не звернув з обраного шляху до останнього подиху. Він усеньке життя ніс на собі печать якогось великого призначення. Окрім долі, поєднаної з Господом, з юних літ

у ньому жила тяга до слова, жага творення.

Поезії Владика Никодима — це щира, сповідальна розмова з Богом і людьми. У цьому і простота, і складність: той, хто звик до вислуховування чужих сповідей, свій звіт перед Богом і паствою мусить складати найчистішими у щирості словами.

Тільки вдумливий читач проникне у просту, але не спрощену, тканину архіпастирського письма. Забігаючи наперед, скажемо, що автор закликає читача поміркувати над вічними цінностями буття, серед яких християнська мораль є визначальною. А ще — як зберегти душу свою і не згубити себе самого у наш розбурханий час спокус і зваб. Щоправда, ці мотиви винесені за рамки поетичної строфи. Однак читач добре розуміє, що слово було і залишається наймогутнішим знаряддям у боротьбі за людські душі. Воно «альфа» і «омега» всього сущого.

Автор безпомилково, хоч вочевидь, і інтуїтивно обрав стиль, який, за визначенням видатного мовознавця В. Жирмунського, «наближає віршовану мову до мови усної». Диво дивне: при побіжному прочитанні здається, що в поетичній строфі нічого художньо вишуканого нема, але вже за мить відчуваєш, що конструкція вірша тримається на довірливій розмові з читачем, непідкупній правді і ненав'язливій мудрості. Власне, все тримається на поетичній інтонації... «І вірилось, і плакалось, і серцю було так легко...», «Мов з дерева життя опало листя».

Сповідальна щирість митрополитових поезій чимось нагадує тиху задушевну розмову з невидимим співрозмовником, але від цього вона тільки виграє, бо увесь час ловиш себе на думці: а до кого ж автор звертається з такою довірливістю, що межує з одкровенням. І ще його поезії пронизує біль — біль за нерозумні вчинки людей, неправду, невміння слухати і чути одне одного і жити по правді...

Разом із тим Владика Никодим завжди дотримувався напучування Апостола Павла про те, що злим «треба уста затуляти: вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить, для зиску брудного» (Тит. 1, 11). Подолання ненависті, нетерпимості, чвар і проповідь миру та злагоди в суспільстві — лейтмотив діяльності Владика Никодима як архіпастиря, громадянина, поета:

Хтось сіє незгоду, а я святу тишу,
Хтось калічить душі, а я їх лікую,
Хтось чекає ночі, я чекаю дня,
Коли зійде сонце на наші поля.

(«Хто що сіє»)

Об'їхавши з архіпастирським жезлом у руці майже весь світ, глибоко пізнавши різнобарвну духовну культуру різних народів, Митрополит Никодим не втомлювався утверджувати єдині для всіх, вічні духовні цінності:

Нас в этом мире много, — самых разных.
 Но все мы дети одного Небесного Отца;
 Так побеждайте все житейские соблазны!
 Гасите даже искорку греха в своих сердцах!
 («Такое забыть нельзя»)

Звісно, що і під рясами б'ються людські серця. Тож і архіпастир не захищений від зла, підступності людської, і раниць вона, і ятрить душу: «Багато я не благаю, хоча б декілька теплих слів...» Просто ми про це не думаємо, вважаючи, певно, що той, хто покликаний проповідувати і наставляти, нести Слово Боже, зліплений з іншої глини.

Та нишком так тебе ужалять,
 Щоб ти на цьому світі жити не схотів.
 («Кликуші»)

Особистісні мотиви лунають у багатьох віршах, але вони лише роблять автора ближчим до читача. «Душа болить, душа страждає», «І страшно, так страшно на душі», «І в одезу спасіння Ти мене одягни».

Достоту мудрість — це не тільки тоді, коли багато знаєш, а коли розумієш і думаєш серцем, а бачиш душею.

Мотиви християнської моралі, особливо коли вони використовуються не для атрибутики, своєрідної канви моралізаторства, а є внутрішнім наповненням художнього твору (хочеться сподіватися, що саме так усе це сприймає читач поетичного чотиритомника), за канонами жанру вимагають повноцінного змістовного наповнення. Тоді художнього забарвлення набуває картинка з буденного життя («Гіркий спомин про рідного батька»), образок із давноминулого («Як беріг я каченят»), випадок з архіпастирського служіння («І святі ікони шукають притулку»).

Чарівний світ природи рідної Буковини і рідної Слобожанщини розглядається автором як величне творіння Господа, він називає його то земним раєм, то краєм величним і прекрасним, яким Господь обдарував наш народ.

Усе це складає глибоку життєву основу поетичного твору, обертається до читача такими незвичними гранями, що,

здається, кожне слово, ритміка строфи посилають до нього теплі й трохи призабулі душевні імпульси, які всі ми колись відчували й пережили, але, не вивершивши в закінчену опінію, втратили назавжди.

Попервах може здатися, що строфа Митрополита Никодима не мелодійна, позбавлена звичних жанрових ознак. Однак вона пронизана точною і влучною думкою, яка, наче сурова нитка, з'єднує всі її елементи в єдиний приглушений звукопис.

«А на цій зірці живуть люди і я». Авторське «я» у даному випадку слід розглядати лише, як те, що Землю нашу населяють мільйони «я» — з їх проблемами, клопотами і сподіваннями, радіощами й горем.

«Я» — як уособлення людства в кожному окремому індивідуумі, як свідчення того, що від кожного з нас залежить доля цієї зірки — Землі.

Автор наполегливо проводить думку, що немає людини поза Богом. І навіть тоді, коли стояло «атеїстичне марево», люди спрагло припадали до християнських джерел і хоч і потаємно, але знаходили дорогу до Бога.

У своїй творчості автор уміло толерує дві суті буття: бачити проблему — це одне, а розуміти її — зовсім інше. Назвати гріх — проникливість, зрозуміти його як властивість людської природи і показати його проминальність — покликання.

Формально Церква не втручається у справи держави, держава не опікується інституціями релігії. Однак Церква за своєю суттю ніколи не стояла і не могла б стояти осторонь життя суспільства. Творчий доробок Митрополита Никодима — ще одне яскраве свідчення тому. Його слово — то зброя разюча і водночас животворна, що приносить зцілення і окріплення духу і розуму. Від слова запалюються серця, слово ж змінює епохи і час. Але лише в одному випадку — коли вимовляється неложними вустами.

Його моральний імператив геть начисто відкидає прославляння негідних, підлабузництво, славослів'я. У вірші «І що ви скажете, га?» йдеться про те, що «вигадав же нечистий їх прославляти», коли «марніє він (народ. — А. С.), згорблений від горя, // Мов чужинець, на своїй рідній землі». Саме вони, на думку автора, позбавлені відчуття страху Божого, ведуть народ на погубу, чинять переступ і сіють гріх у душах юних.

І по смерті серце Владики однаковою мірою належить і Слобожанщині, і батьківській Буковині. В його поезіях ці землі «святі», а очі їх мешканців світяться добром і любов'ю.

Всі інші риси — від лукавого з його спокусами і звабами. Чи це звичка від багатолітнього пастирського служіння бачити в людині лише Божу іскру, чи такий уже в нього був душевний лад, закладений від народження Божественним промыслом, але, на думку Владики, у кожній людині сокрита часточка Творця.

Швидкоплинне земне буття в безмежній Божественній вічності... Щоденною працею, усім життям кожна людина готує притулок душі своїй. І яким він буде — залежить від справ земних і світу духовного, який живе в людині. Пам'ятаймо, як пам'ятав про це поет у сані і архіпастир серед мирян. Він залишив нам свій заповіт — вивершений у лаконічності і глибокій житейській мудрості: «Друзі! Любіть Україну як матінку свою».

Авторы журнала *Биографические справки*

БИНКЕВИЧ Алексей Станиславович родился 15.11.1943 г. в г. Джамбуле (сейчас Тараз), Казахстан. Закончил Самборский (Львовской обл.) статистический техникум. Поэт, переводчик. лауреат муниципальной премии имени Бориса Слуцкого и Международной литературной премии имени Расула Гамзатова. Живёт в г. Харькове.

ГУЛАКОВ Павел Захарович родился 5 марта 1947 г. в с. Узлив (Дмитровский р-н, Орловская обл.). Закончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта (1986). Печатается с 1975 г. Редактор газеты «Слово Ветерана». Член НСПУ (2004), Союза писателей России, творческой ассоциации «Слобожанщина» (1998). Лауреат премии им. Б. Слуцкого. Живет в г. Харькове.

ГУРБАНОВА Зоя – писательница, поэтесса, член Полтавского союза литераторов, студентка киношколы Александра Митты. Автор двух книг прозы. Живёт в г. Полтаве.

ДОЛБНЯ Виктор Тимофеевич родился 27 сентября 1924 г. в г. Харькове. В 1942 стал курсантом учебного танкового полка, в 1943 участвовал в боевых действиях в качестве радиста-пулеметчика танка Т-34, а после ранения воевал в составе стрелкового полка. После войны закончил вечернюю школу, в 1955 г. Харьковский политехнический институт (НТУ «ХПИ»). Доктор технических наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы Украины. Почётный доктор НТУ «ХПИ». Автор более 10 учебников, учебных пособий и монографий. Живёт в г. Харькове.

ДУБРАВНЫЙ Евгений Фёдорович родился на Кубани 17 апреля 1942 г. в станице Косякинской. Служил в армии, где публиковался в газетах «На боевой вахте» и «Флаг Родины». Закончил факультет журналистики МГУ и был направлен в газету «Белгородская правда». Прошёл путь от корреспондента до заместителя редактора. Стоял у истоков создания Белгородского телевидения (ГТРК «Белгород»). Член Союза писателей России (1994). Автор 20 книг, половина из которых – детские. Живет в г. Белгороде (Россия).

КАПЛУНОВ Юрий Михайлович родился 26 ноября 1944 года в г. Каменске-Уральском Свердловской области. Закончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум (1963) и Литературный институт имени А.М. Горького (1977). Служил в армии, работал на металлургическом заводе, в производственном объединении «Октябрь». С 1978 г. по настоящее время – руководитель Каменск-Уральского городского литературного объединения. Член Союза писателей России (2002). Стихи публиковались в журналах, альманахах, коллективных сборниках и антологиях, вышедших в Москве и на Урале. Автор трех поэтических книг. Живёт в г. Каменске-Уральском (Свердловская обл., Россия).

КАТАЕВА Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу закончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Огонёк», «Смена», «Радуга», «Москва», «Донбасс», «Слобожанщина», «Славянин», в «Литературной газете» (Москва) и «Новой литературной газете» (Киев). На украинском языке – в «Літературній Україні» и в журнале «Прапор-Березіль». Подборка стихов на

украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). За работу с творческой молодежью и книгу стихов «Харьков – судьба моя» в 2005 году удостоена звания «Харьковчанин года». Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого. Живёт в г. Харькове.

КОПЫЧКО Владимир Петрович родился 10 марта 1956 г. в г. Новосибирске в семье военнослужащего. В 1979 году с отличием закончил Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского (ХАИ) по специальности «инженер-механик по самолетостроению» и аспирантуру при нём (1986). Автор 20 научных работ, 4 изобретений. Член Союза писателей России (2009), творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина». Автор трех поэтических сборников, поэтических переложений Книги Псалтыри «Псалмов Божественных мотивы» (2005 г) и Книги Екклесиаста «Книга Екклесиаста» (2007), а также др. книг, CD альбома собственных песен (2007). Кавалер ордена Преподобного Нестора Летописца 3 степени (2005). Живёт в г. Харькове.

КОПЫЧКО Юлия Геннадиевна родилась в г. Черкассы. Закончила Харьковский институт культуры по специальности «библиотекарь-библиограф» (1979). Член Союза писателей России (2009), творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина». Публиковалась в поэтических сборниках. Автор двух книг и более 20 песен. Живёт в г. Харькове.

КОРЖ Иван Иванович родился в 1934 году в г. Харькове. Работал на заводах «Турбоатом» и ХЭМЗ. Посещал литературную студию при ДК ХЭМЗ, Центральную студию им. П. Г. Тычины при Харьковском отделении Союза писателей. Публиковался в периодической печати. Автор нескольких сборников. Член Союза писателей России. Живет в г. Харькове.

КОРОТКОВА Екатерина Вальевна родилась в Киеве. Закончила Харьковский институт иностранных языков (англ. отд.). Профессиональный писатель и переводчик. Специализируется на английской классической прозе XIX и XX веков. Живет в г. Москве (Россия).

МЕЛЬНИЦКАЯ Инна Владимировна (Гаврильченко, урождённая Оскнер) родилась в Харькове в семье педагогов. Закончила Харьковский институт иностранных языков (1949) и аспирантуру при нём (1952). Занималась преподавательской деятельностью. Переводы её печатались в журналах и выходили отдельными изданиями. Проза переводилась на украинский, белорусский, молдавский, мордовский и итальянский языки. Награждена итальянской юбилейной медалью Ass.Naz.Alpini (1943-1993). Лауреат международной премии им. Долгорукова, премии им. Б.Слуцкого, юбилейной премии журнала «Радуга». Член Национального союза писателей Украины (1997), Союза писателей России (2007). Живёт в г. Харькове.

МИРОШНИЧЕНКО Анатолий Михайлович поэт, переводчик, эссеист. Родился 18 февраля 1939 года в Макеевке Донецкой области. Закончил Metallургический факультет Донецкого политехнического института (1962). Работал на заводах, в НИИ и КБ в Макеевке, Краматорске, Донецке, Харькове. С 1971 года его жизнь, трудовые и творческие достижения связаны с Харьковом. Автор тринадцати художественных книг, переводов и эссе, вышедших в издательствах Харькова и Москвы. Член Союза писателей России (1996) и Национального союза писателей Украины (2004). Лауреат Международной литературной премии «Слобожанщина» (2006) и Премии Союза

писателей России «Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2011).
Живёт в г. Харькове.

ОЧЕРЕТЯНОВА Татьяна Ивановна родилась 1 октября 1963 г. в г. Серафимовиче Волгоградской обл. (Российская Федерация). Закончила педагогическое училище. Стихи начала писать с 1979 г. Посещала литературную студию г. Свердловска (Луганская обл.). Печаталась в районных газетах, коллективных альманахах. Член творческого объединения литераторов «Слобожанщина». Победитель городского конкурса «Від слова до слова» («От слова к слову») в Дергачах. С апреля 2010 года руководитель Дергачёвской литературной студии «Суголосся» («Согласие»). Автор трех поэтических сборников и повести (2011). Лауреат областного литературного конкурса им. А.С. Масельского (2011).
Живёт в г. Дергачи (Харьковская обл.)

ПОТИМКОВ Сергей Юрьевич родился в 1954 году в Харькове. Закончил Харьковский государственный университет им. М.Горького. Работал преподавателем в харьковских вузах. Служил военным переводчиком в Уганде и Эфиопии. Заслуженный журналист Украины. Автор популярных теле и радиопередач. Работал в качестве приглашенного преподавателя на факультете журналистики университета штата Мэн (США). Дважды избирался депутатом Верховной Рады Украины. Автор пяти книг.
Живет в г. Харькове.

СМОЛЕНСКАЯ Светлана Алексеевна родилась в г. Харькове в семье служащих. Закончила архитектурный ф-т Харьковского инженерно-строительного института (1977). Кандидат архитектуры (1993), доцент. Печатается как поэт с 1972. Переводит укр. поэзию. Член НСЖУ (1999), член СП России (2012).
Живет в г. Харькове.

СТОЖУК Анатолий Петрович родился 18 марта 1955 г. в с. Кустичи (Волынская обл.). Закончил Литературный институт им. Г. Горького. Автор трех книг. Лауреат премии им. И. Федорова. Член НСПУ (1997).
Живет в г. Харькове.

СТРЯПКО Анатолий Петрович (1944-2003). Закончил Харьковское художественное училище (1967). Работал художником на предприятиях Харькова (с 1967). Автор книг стихов «Черно-белый вариант» (1993), «Межсезонье» (1998).

ТИМЧЕНКО Виктор Петрович родился 3 сентября 1930 г. в с. Мануиловка Дергачевского района Харьковской области. Закончил Харьковскую школу слепых им. Короленко. Почетный гражданин г. Дергачи. Член НСПУ (1959). Лауреат премий им. В. Мисыка и К. Гордиенка.
Живёт в г. Харькове.

ТИТОВ Арсен Борисович родился в 1948 г. в Бирском районе Башкирской АССР. Сопредседатель Союза российских писателей, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей, автор 13 книг прозы, лауреат многих литературных премий. Переводчик с грузинского.
Живет в Екатеринбурге (Россия).

ШЕЛКОВЫЙ Сергей Константинович поэт, эссеист, литературный критик. Родился 21 июля 1947 в г. Львове. Закончил инженерно-физический факультет Харьковского политехнического института (1971) и аспирантуру при нем. Автор научных публикаций в области прикладной математики и механики. С 1973 г. публикует литературные произведения. Член Союза писателей СССР и Союза писателей Украины (1989), Международной ассоциации писателей и публицистов (2006). Автор более

20 книг стихотворений и прозы. Публиковался в Украине, России, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Великобритании, Дании, Израиле, Латвии, США, на Кипре и др. Стихотворения переводились на украинский, болгарский, грузинский, немецкий, английский и французский языки. Член жюри Международного фестиваля русской поэзии «Эмигрантская лира» (Бельгия). Награды: Международный орден Святого Станислава — за вклад в литературу и культуру; премия им. Б. Слуцкого (2000); премия им. Н. Ушакова (2001); международная премия им. Ю. Долгорукого (2007) Живёт в г. Харькове.

ЮРЛОВА Ольга Леонидовна Юрлова - поэт, член Союза писателей России. Родилась в городе Кирове в 1964 г. В настоящее время редактор издательского отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина МКУ «ЦБС» г. Кирова. Член правления Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», руководитель областного литературного объединения «Молодость». Награждена Почётной грамотой Министерства культуры РФ. Лауреат литературных премий Кировской области: имени А. С. Грина (2010 г.) и Н. А. Заболоцкого (2011 г.). Живёт в г. Вятке (Россия).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Римма Катаева. Главная улица	3
Анатолий Мирошниченко. Параллели	4
Сергей Шелковый. На улице Пушкинской	5
Алексей Бинкевич. Переулок Подольский	7
Инна Мельницкая. Дождь в моем городе	9
Иван Корж. Площадь поэзии в Харькове	10
Павел Гулаков. Мой Харьков	11
Светлана Смоленская. Колыбельная Харькову	12
Анатолий Стряпко. Москалевка	13
Владимир Копычко. Харьковский вальс	15
Татьяна Очеретянова. «Мой Харьков начинался с «Барабашки»	16
Сергей Потимков. Подарок Родине	17
Юлия Копычко. Песнь о городе	18
Евгений Дубравный. «... В святой России талантов больше, чем убийц!»	88
Юрий Каплунов. «Мы разные, в этом и сила»	132
Виктор Тимченко. Туманность Андромеды	172
Ольга Юрлова. «Научи меня, Господи, жить!»	198

ПРОЗА

Виктор Долбня. Тысяча четыреста восемнадцать дней	19
Екатерина Короткова. «... Кого найду, того убью»	97
Арсен Титов. Сентябрь	138
Зоя Гурбанова. Ламинированное послевкусие	184

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Анатолий Стожук. Искренний разговор с Богом и людьми	207
---	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

213

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№18

Гл. редактор *Л.И. Мачулин*

Литературный консультант
отдела поэзии *Р.А. Катаева*

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 14.08.2013. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCondCTT. Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л.
27,70. Изд. №3. Зак. №____. Тир. 500 экз.

Учредитель: ООО «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
Тел./факс (057) 705-27-56
e-mail: editor01@list.ru

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331